

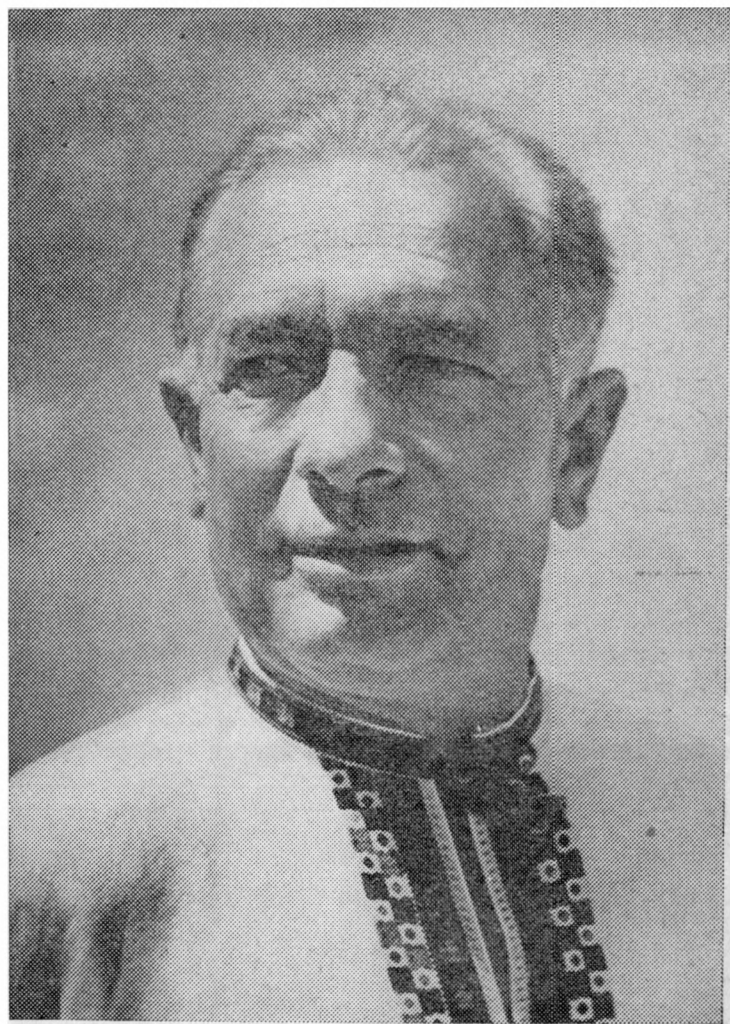


СТЕПАН ОЛЕЙНИК



ПУТИ-ДОРОГИ





СТЕПАН ОЛЕЙНИК

ПУТИ-ДОРОГИ

РАССКАЗЫ, НОВЕЛЛЫ, ЗАРИСОВКИ

*Авторизованный перевод с украинского
Л. Швецовою*

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980


Степан Олейник — видный украинский поэт-сатирик, автор многих сборников сатирических стихотворений, вышедших на родном языке. За поэтическую книгу «Наши знакомые» ему присуждена Государственная премия СССР. В «Правде» было опубликовано свыше ста его сатирических стихотворений.

Степана Олейника знают читатели и как прозаика. Наиболее известны сборники его рассказов «Из книги жизни» (1964), «Отцы и дети» (1970), «С житейского поля» (1973).

В сборнике рассказов «Пути-дороги» автор рисует жизнь украинской деревни в первые годы советской власти. В книгу вошли также рассказы о Великой Отечественной войне, воспоминания о деятелях литературы и искусства.

Художник О. Г. ЧЕРВЕЦОВА

ОТ АВТОРА

 **В** этой книжке опубликованы мои биографические новеллы и рассказы, которые я в течение многих лет рассказывал друзьям, как рассказываете вы, уважаемый читатель, всякие истории и приключения, случавшиеся с вами. Здесь нет ничего выдуманного: только то, что произошло со мной или в моем присутствии. Я не мог бы себе позволить что-нибудь придумать, так как рассказываю о знакомых людях. С некоторыми из них я встречаюсь до сих пор. Лишь в нескольких произведениях из-за тех или иных соображений я изменил фамилии героев.

Думаю, что немало моих друзей, с которыми я жил, работал и учился, узнают в этих рассказах и себя, и наших общих знакомых. Я очень рад, что мне выпало счастье встретиться с такими людьми в жизни.

СТАНЦИЯ ЛАВОЧНЕ



Очень может быть, что даже не все слышали, что есть такая станция. У меня же вышло так, что хоть рос я в степном краю, вблизи Черного моря, а грезил этой станцией еще тогда, когда мне было восемь лет. Знал же я о ней только то, что она где-то далеко-далеко, в высоких горах Карпат. Больше ничего не знал. А спилась мне эта станция чуть ли не каждую ночь. Снилось три с половиной года. Казалось: имей я крылья, то полетел бы именно туда.

Полетел бы потому, что на этой станции, в австро-венгерском лагере военнопленных, находился мой отец, по которому я до боли тосковал.

О том, что он попал в плен, летом 1915 года написал нам из окопов первой империалистической войны его товарищ. Я до сих пор помню, что на конверте письма был портрет всадника, летящего пригнувшись на коне, с нацеленной вперед длинной пикой. Внизу подпись гласила, что это храбрый воин Кузьма Крючков.

Весточка от самого отца пришла только через полгода: что он жив, находится в лагере, что каждое утро его вместе с другими пленными выводят из-за колючей проволоки подметать станцию Лавочне. В тот же день, поплавав над письмом, моя мать, Наталья Васильевна, отправилась в местечко. Купила целую пачку открыток, отнесла аптекарю двух петухов и попросила его написать на этих открытках адрес: слева — латинским шрифтом, справа — по-русски.

Каждую неделю сельский писарь (мать была неграмотной) строчил под нашу диктовку письма в Галицию. Но сколько мы их ни писали, отец в течение двух лет печально сообщал: «А от вас так и нет ни единого словечка...»

«Где же они пропадают, эти письма? Кто он, лютый враг, не пропускающий наши весточки к отцу?» Эти мысли не давали покоя. Позже нам объяснили: есть, говорят, такая специальная служба, которая тем и занимается, что раскрывает конверты, все перечитывает и бросает письма в печь.

— Чтобы они там ослепли! — сказала мать.

Шло время. Я уже окончил первый класс нашей сельской школы, называвшейся «Земское народное училище». Ходил уже во второй. И однажды, когда мать уехала на мельницу, мне пришла мысль: «А что, если я сам напишу отцу?» Адрес на открытке есть, а то, что почерк не такой, как у писаря, то это, может быть, не так уж важно.

Если бы вы знали, как я выводил буквы, как старался, чтобы строчки были ровными: писал ведь любимому отцу, который и не знает, что его сынок уже школьник, что носит он ту самую зеленую сумку с красным петушком, давно купленную и убранную в сундук отцом. Писал строчку за строчкой: что мы живы-здоровы, что уже копчили посевную, что корова принесла теленка... Помню, хотел написать, что у нас теперь нет царя, которого скинули... Но не хватило места. Написав, побежал к сельской канцелярии и опустил в почтовый ящик свое первое в жизни письмо. Да еще за границу, в Галицию, на станцию Лавочне.

Это было утром. А в полдень, когда услышал, как позванивает колокольчиками почтовая бричка, проезжавшая раз в три дня из Ананьева в Березовку, бежал за этой бричкой до самой канцелярии и там своими собственными глазами видел, как вынули из ящика и сунули в мешок письма, среди которых было и мое.

И повезли. Я смотрел вслед бричке, пока были слышны ее колокольчики.

Почта уехала, я переживал и с тревогой думал, пропустит ли эта служба мое письмо или бросит в печь, спалит, и тогда отец так и не узнает ничего о нас и будет напрасно ждать за колючей проволокой нашей весточки.

Да, видно, и у австрийского цензора было человеческое сердце. Взглянул он, наверное, на мой почерк, увидел, что сынок отцу пишет (может быть, и у самого был такой хлопчик дома), и пропустил мое послание. Об этом недели через три с радостью сообщил нам отец.

...А весной 1918 года, когда недалеко от села мы с мамой засевали баштан, я увидел, что по дороге от мельницы в сторону нашей хаты идет какой-то высокий человек. В синевато-сером пиджаке, в обмотках, на боку поблескивает солдатский котелок. В такой одежде почти ежедневно проходили через наше село солдаты, бежавшие из плена. Поравнявшись, бывало, с нашей хатой, они шагали дальше. А этот солдат...

Я приложил руку козырьком и на всю степь закричал:

— Татко пришел! Татко!

И, все бросив, побежал домой. За мной поспешила мать... В тот незабываемый весенний день мы и встретились после четырехлетней разлуки!

Заходили соседи, родственники. Обо всем расспрашивали отца. Он рассказывал им, сколько хлебнул горя, как местные жители помогли ему бежать из плена. И каждый раз показывал фотографию:

— Это станция Лавочне, которую я три с половиной года подметал. Вон, видите, дальше под горою село Лавочне, а вон там чернеют бараки пленных.

Разговаривать с людьми отец мог только в хате; когда же он выходил во двор, наш старый пес Волчок падал к его ногам, крутился, ластился, скулил, прыгал ему на плечи, обхватывал лапами — так сильно соскучился

по своему хозяину. Сколько раз лунными ночами отправлялся Волчок в сад и, задрав морду кверху, начинал тоскливо выть, пока кто-нибудь из нас не вставал и не прогонял его из сада. Вот поэтому, дождавшись своего хозяина, Волчок вытворял такое, что и поговорить с людьми не давал.

Но никому отец столько не рассказывал о плене, о горах Карпатских, о жителях Лавочне, как мне. От его рассказов в моем воображении на всю жизнь остались и красота Карпат, и ненависть к австро-венгерским жандармам, и нежность к тем добрым людям из Лавочне, которые помогли отцу вернуться домой.

И я мечтал еще с юных лет: доведется ли мне, когда вырасту, побывать на этой станции?

И, представьте себе, довелось, посчастливилось!

...Зима 1951 года. Еду в командировку в Закарпатье. Расспросил у проводника и узнал, к своей радости, что завтра утром будем в Лавочне.

В девять часов утра, когда поезд только еще подходил к семафору, я уже стоял на ступеньках вагона. Вот они, покрытые елями и дубами, Карпатские горы, вот оно, село Лавочне — новое, советское, та самая станция, тот перрон и те шпалы, которые три с половиной года убирал мой отец! В памяти вставало детство, тот день, когда я послал сюда свое первое в жизни письмо, рассказы отца...

Ходил взволнованный по перрону и готов был пожать руку каждому местному жителю. Да вы и сами прекрасно понимаете мои чувства. Я как бы приехал в давно не виданные родные места. И когда поезд отправился дальше, я все смотрел и смотрел из окна...

Да и теперь, при встрече с галичанами, мне всегда приятно слушать их рассказы о жизни людей той незабываемой карпатской станции.

Привет тебе, Лавочне, и сегодня! Я берегу тебя в своей памяти еще с детских лет!

«ДЕРЕВЕНСКИЕ МАЛЬЧИКИ»



Когда бы я ни вспоминал Одесский кооперативный техникум, в памяти всегда встают мои добрые друзья, с которыми я тогда жил в общежитии на улице Толстого. Рассказывали, что когда-то в этом помещении был магазин. Теперь здесь вдоль стен стояло тридцать кроватей, а посередине — длинный стол. Двери выходили прямо на тротуар. А по тротуару денно и нощно двигалась к Дерибасовской и обратно шумливая Молдаванка.

А вот и такая сценка. Под нашими окнами, с браслетом на руке и с громадными золотыми сережками в ушах, прогуливается с детьми пышнотелая эппманша. Мы, рассевшись на кроватях, разучиваем песню «Ой гай, мати...». Детишки, услышав пение, спрашивают:

— Мамочка, кто это поет?

— Это деревенские мальчики! Не смотрите туда...

Со всех концов Южной Украины и даже с Подолья собрались в нашем техникуме эти самые «деревенские мальчики». Многие из них, не имея денег на проезд, пришли сюда пешком, чтобы стать первыми грамотными людьми в своем роду. Иногда они недоедали, кое-кто до самых холодов ходил по тротуарам босой, но все равно учились. Ничто не страшило.

Лекции кончались в два часа дня, а в четыре в комнате оставался только дежурный. Все остальные спешили в городские библиотеки, читальни. Там, по нашему дру-

жескому уговору, каждый должен был сидеть до десяти часов вечера. Если сделал все уроки — сиди читай романы, журналы, новые сборники стихов.

Самое интересное начиналось поздно вечером, когда все сходились вместе — кто-то пересказывал прочитанную повесть, другой декламировал стихи Сосюры, Тычины, Маяковского, Есенина... Позже вошло у нас в привычку на таких «вечерницах» рассказывать о своем крае, о селе, о всяких случаях, об интересных людях.

Тридцать парней — это же тридцать разных характеров! У каждого свои достоинства и свои причуды.

Взять хотя бы Митю Дудника. Широкоплечий, красивый и умный парень. Но удивительно молчаливый. Говорил только в том случае, если у него что-нибудь спрашивали. Да иногда даже на вопрос отвечал не словами, а лишь кивком головы. И вот наш Митя вдруг стал возвращаться в общежитие в двенадцать часов ночи. Стучит и всех будит. Ребята накинудись на него:

— Где это ты шляешься уже шесть вечеров? Где ты был? В какую-нибудь одесситку влюбился или еще что?

Митя спокойным баском отвечал:

— Ходил на станцию...

— Зачем?

— Уже неделю хожу, всех людей оглядываю, думаю встретить кого-нибудь из нашего села и передать письмо домой, — сказал и лег спать. А искал он земляка понятно почему: ведь цена марки — это сайка белого хлеба!

Полной противоположностью Мити был Михайло Василенко, верткий, худощавый хлопец с синими глазами; он даже в перерыве от занятий оставался в классе и выбивал чечетку. Танцевал он хорошо, но был безмерно нерешительным. Ни единой мелочи не осмеливался решить сам, поступал только так, как ему советовали. И однажды эта бесхарактерность окончательно запутала Михайла.

Одному из наших ребят пришла от родителей посылка. Раскрыл ее адресат, вытащил оттуда серенький

костюмчик и надел. Махнул левой ногой, махнул правой, покрутился, и все сказали, что костюм хороший.

Тут Василенко не выдержал, разнервничался, вскипел и начал своих родителей укорять:

— Что они там думают! Хожу с протертыми рукавами, а из дома — ни гугу! Другим присылают, а мне...

— Сам виноват! — кто-то подлил масла в огонь. — Отец работает в кооперации, хорошо зарабатывает, а ты молчишь!..

Выслушав это, Михайло тут же вырвал из тетради два листа бумаги и накатал письмо с требованием костюма. Побежал на угол улицы и бросил письмо в почтовый ящик.

В это время из читальни вернулся самый старший из нас, уже женатый человек, Андрей Ковтун.

— Как дела, Михайло? — спросил между прочим у Василенко.

— Да вот отправил письмо домой, чтобы костюм мне пошили да прислали. Отец у меня в кооперации работает, а вот видишь, как хожу. Дал им такого перца, что могут и рассердиться... — И спрашивает: — Как по-твоему, я правильно поступил, а?

Ковтун помолчал, подумал:

— А на кого же они там мерить будут, если надумают шить?

— Да на кого-нибудь!

— Что значит — на кого-нибудь? Ну, сошьют они, ты наденешь, а костюм, может быть, будет висеть на тебе как на вешалке! Вон напротив нас живет портной. Вот шьет! Этот уж как примерит, как подгонит, так действительно красота! Купил бы отец тебе материи — так уж ты имел бы настоящий костюмчик, — поучал Андрей.

И Михайло с ним согласился. Поблагодарил за совет, вырвал из той же тетрадки еще два листочка и накатал новое письмо:

«...Дорогие родители! Пришлите отрез материи на костюм и деньги. Тут напротив нашего общежития живет портной. Он большой специалист, даже артистам шьет. Обещал и мне сшить...» И так далее.

Заклеил конверт и отнес в тот же почтовый ящик.

А когда вернулся, рассказал обо всем своему земляку Григорию Кудели.

— Я правильно поступил, Гриша?

Земляк усмехнулся, покачал головой и сказал:

— Ты всегда что-нибудь выкинешь такое, Михайло, что, ей-богу, стыдно слушать. А чего же ты своим умом не подумал, сколько этот портной сдерет с тебя за пошивку? Да за те деньги, которые он слупит, можно второй костюм справить. На черта тебе с ним связываться? Кроме того, этот лиходеи еще и материи украдет с полметра, как минимум!..

Михайло слушал, краснел за свою беспомощность, а Куделя наставлял его дальше:

— Я сегодня был в универмаге. Там висят чудесные готовые костюмы. Сам пойду с тобой, выберем самый лучший. И главное без мороки — надел и носи...

— Вот я дурень, вот дурень! — хватался за голову Михайло. — И зачем я Ковтуна послушал?..

И из тетради был выдрян третий лист.

«Привет вам из солнечной Одессы, дорогие мои родители! Прошу прислать мне деньги. Тут в универмаге есть очень хорошие готовые костюмы. Подберу, какой захочу. И ребята обещают помочь выбрать...» Настроил и побежал к почтовому ящику.

Узнав про эти Михайловы выкрутасы, хлопцы сначала хохотали, а потом взялись коллективно прорабатывать его:

— Чего ты горячишься? Сам подумай — до каникул осталось три недели. Походи пока так, как есть, а там поедешь домой и вернешься в новом костюме...

Так что пришлось Михайлу в тот вечер бросить в почтовый ящик еще одно письмо, которое начиналось слова-

ми: «Дорогие папа и мама! Я вас очень прошу ничего мне не присылать...»

Все эти письма были датированы одним и тем же числом. И вероятно, в один и тот же день все письма сына были доставлены почтальоном к родителям. В каком порядке они их читали — неизвестно. Но примерно через неделю Михайло получил ответ. Замороженный и сбитый с панталыку отец писал: «Либо ты там совсем заучился, либо с тобой еще что случилось? Мы ничего не можем понять. Сейчас же напиши толком, а то мама плачет!..»

И все равно мы любили Михайла Василенко. За его доброту и непосредственность, за то, что верил нам, советовался, как с братьями.

Стипендия наша была двенадцать рублей в месяц. Не разгуляешься! Не потанцуешь в ресторанах, как теперь вытанцовывают некоторые студенты. Не зря в общежитии, в углу за дверьми, лежали две пилы да два увесистых колуна, купленных в складчину. Сидим, бывало, разговариваем, вдруг Гриша Куделя вскакивает и куда-то бежит: это он в окно увидел, что по улице повезли полную платформу дров. Куда платформа — туда и Куделя... Договорится с хозяином, как пилить, как наколоть, за какую плату. И, гляди, уже пошла бригада на заработки.

Как-то одесский кооперативный союз сроком на год нанял нас в ночные сторожа магазинов. Платили хорошо: рубль за ночь. Посчастливилось и мне попасть на эти «легкие хлеба». В половине одиннадцатого вечера мы шли в городской трест, получали наряды и перед закрытием магазинов являлись на свои посты. В холодные ночи нам выдавали сапоги, кожаные шапки и, конечно, на всякий случай — дробовик с пятью патронами в запасе. Некоторые магазины надо было сторожить спаружи, всю ночь наблюдать за сохранностью пломбы. Другие охранялись изнутри: запирали там сторожа, сажали за стол, давали номер телефона, куда звонить в случае тревоги.

Каждому, естественно, хотелось сторожить внутри.

И не только потому, что будешь в тепле. Запирая и пломбируя магазин, директор всегда говорил:

— Можешь есть что захочешь и сколько хочешь, только с собой нельзя ничего брать.

Красота! Отрежешь себе хороший кусок колбасы, возьмешь большущую булку, потом кусок халвы и все это запьешь бутылкой сидро... Поужинал — и готовь себе уроки. Часа в четыре ночи пообедаешь, а часов в семь утра позавтракаешь. А там сдал пост — и на лекции.

Наружная охрана хоть и была менее выгодной, но все же имела свои преимущества: ты слышал, как постепенно затихал город, затихал гомон улиц, слышал, как где-то вдалеке громыхнет последний трамвай, возвращаясь в депо. Сидишь в своей будке, и все тебе видно. Вот пролетел ночной извозчик, вот спешит запоздавшая парочка; а потом быстро пробежало трое хулиганов (возможно, уже кого-то обчистили!). И ты берешь дробовик на изготовку.

Однажды выпал мне такой пост на развилке улицы Пушкинской и Новорыбной. Примерно в час ночи я услышал, как со стороны вокзала приближалась группа женщин — с песнями, с громкими выкриками. Из их «репертуара» я понял, что это идут проститутки. В те годы (1926—1928) в городе была еще безработица и иногда шатались по улицам и прогуливались по площадям женщины легкого поведения.

В тот раз вместо сторожевой будки в моем распоряжении напротив дверей магазина был старый пустой киоск со стулом. И вот подходят ко мне восемь этих самых девиц и кричат:

— Дядя сторож! Мы посидим немножко в киоске, а то ветер и нам холодно...

Не дожидаясь моего ответа, они вошли и расселись на дощатом полу.

— Ты в кожане, можешь и на улице на стуле посидеть! — смеются.

Я так и сделал. Сажу поглядываю на двери и слушаю их разговоры. А они согрелись и разоткровенничались. Каждая из них стала рассказывать о себе: откуда родом, когда и как попала в Одессу, по каким причинам впервые ступила на скользкий путь.

Особенно мне запомнилась исповедь одной женщины с большими черными глазами и накрашенным лицом.

— А я, девчата, из Цебриковского района. Привез меня сюда в восемнадцать лет, будь он проклят, офицерик Федя. Пожили мы с ним год, а когда Котовский пошел на Одессу, мой ффаер чесанул в Румынию. За квартиру — гони монету. Шамать — ни в зуб. Вот тогда и начала я прохаживаться на свежем воздухе, — говорила она полголоса, а потом крикнула: — Задушила бы гада, кабы встретила! Если бы не он — жила бы себе в селе, ходила бы в поле работать, имела бы хату, садик...

Потом они поднялись с пола, вышли из будки, обнялись и снова направились к вокзалу, громко распевая песни. Вечером следующего дня я рассказал друзьям по общежитию то, что услышал от этих женщин, и мы все как бы прочитали книгу о горькой женской доле.

...Не могу не познакомить вас с еще одним товарищем — Миколой Щербанем, чей портрет постоянно красовался на стенде «Лучшие студенты техникума». Он успевал везде: отлично учился, ходил на занятия по боксу, посещал вечерние курсы палубных матросов. А кроме всего этого, еще находил время и погулять с девчатами. У Миколы была мощная, атлетическая фигура, руки — как железные. Он только один раз в месяц ходил на заработки, и этого было достаточно, так как зарабатывал он за одну ночь пять стипендий! С вечера и до утра с помощью тяжелой железной черпалки выгружал он на товарной станции вагон угля. Утром получал шестьдесят рублей — и снова месяц спокойно учился.

Закончил Щербань матросские курсы, получил удостоверение и с нетерпением ждал летних канikuл: дол-

жен был идти в рейс матросом — практикантом на одном из пароходов.

И дождался. В начале июня 1928 года провожали мы его в первое плавание. Нашему Миколе повезло. Большой грузовой пароход, на который он попал, шел в Стамбул. Счастливец, конечно, не думал и не гадал, что вернется назад не матросом, а пассажиром, списанным из команды и исключенным из комсомола. А виной всему было увлечение боксом.

Пароход стоял в Турции четверо суток. Как-то вечером капитан разрешил группе матросов пойти в город посмотреть Стамбул. В какой бы скверик ни зашли хлопцы, всюду публику развлекали боксом. Для этого были сооружены специальные ринги, где чемпион улицы или квартала вел показательные «бои» с каждым, желающим попробовать свои силы.

Стояли наши матросы, смотрели, а у Миколы прямо руки зачесались, так захотелось потягаться с турком. Взял слово у товарищей, что они ничего не скажут капитану, и, натянув перчатки, полез на ринг.

Бой продолжался недолго. Заметив, что турок нарушает правила, а судья помалкивает, Щербань выбрал момент, развернулся и так треснул противника в подбородок, что тот попятился и упал. И лежит... Сбежалось еще больше народу, вызвали врача, а полицейский схватил Миколу и повел его в околоток.

Скандал! Что делать? Пришлось хлопцам идти в наше консульство. Оттуда позвонили в полицию, заверив, что надлежащий штраф будет оплачен, и Щербаня отпустили. Когда на другой день пароход отчалил в обратный рейс, Щербаня как нарушителя приказом капитана «списали» с судна, а вечером на собрании исключили из комсомола.

На этом морская деятельность Миколы и закончилась. Месяца полтора ходил он по инстанциям, чтобы его восстановили в комсомоле. И дело дошло до окружкома. На одном из его заседаний рассматривалось персональное де-

ло Щербаня. Когда рассказали, в чем дело, в зале захохотали. Дали слово Миколе. Он начал с биографии:

— Родился я в селе Гвоздавка на Одессине. Отец до революции имел полторы десятины земли, мать — батрачка, дед работал у пана пастухом, бабка тоже из бедняков...

— Не надо об этом, слышишь, Щербань! — перебил секретарь.

— А что же говорить?

— Расскажи лучше, как именно ты влил турку!..

Когда смех в зале утих, председательствующий сказал:

— Есть предложение восстановить Миколу Щербаня в рядах комсомола... Кто за? Прошу опустить... Единогласно!..

...Техникум готовил кооператоров: товароведов и бухгалтеров. Учились в нем не только «деревенские мальчишки». Рядом с нами за партами сидели дети одесских рабочих и служащих. Были тут и сынки и дочки богатых эшманов. Они являлись на занятия в бостонах да шелках, с золотыми часами на руке, в лакированных туфельках. Некоторых даже привозили на лекции в фаэтонах собственные кучера. Ради справедливости надо сказать, что в целом они относились к нам хорошо, по-товарищески.

Между этими бостонами и шелками сидел на задней скамейке (чтобы никому не загораживать) высокий чубатый парняга в старенькой, но всегда чистой синей рубашке. Это был Микола Мельничук, самый бедный из нас студент, который, дойдя пешком с Подолья до Одессы, разбил свои единственные ботинки. Добрый и даже нежный по натуре, всегда какой-то задумчивый, Микола не только отлично учился, но и прекрасно пел лирические и шуточные песни.

Пел он только в общезитии. Когда его просили выступить в клубе со сцены, он отказывался, так как ему не в чем было выйти. Ребята, конечно, с удовольствием одолжили бы ему что-нибудь поновее из одежды, да разве

налезет на Миколу? Рост — сто восемьдесят восемь сантиметром, номер обуви — сорок шестой!

Но один раз он все-таки дал концерт, показал, как умеют петь подоляне. Было это на Майские праздники 1928 года. Его, меня и еще трех студентов послали от техникума в село Холодная Балка, в подшефный совхоз. Встретили нашу делегацию очень хорошо. После официальных приветствий мы обедали вместе со всем коллективом.

Изрядно хватив «подшефного» вина, Микола встал, раскинул руки и запел: «Повій, вітре, на Вкраїну». Кроме аплодисментов, его наградили за это несколькими кружками кагора.

— А теперь послушайте мою, подольскую! — разошелся Мельничук:

В нашім селі новина:
Жінка мужа продала,
Та й зварила солоду,
Та зізвала громаду.
В тій громаді сім попів,
А з попами сім дяків,
А з дяками сім бабів,
А з бабами сім чортів...

Игривая мелодия и бойкое, отличное исполнение ее так захватили слушателей, что, когда мы уезжали, за Миколой до поезда шла толпа девчат да молодцов.

А через сорок минут мы уже были в Одессе. Помню, сошли с поезда и повели под руки подвыпившего шефа Миколу в общежитие. А Микола все порывался петь — и никаких. Хоть рот ему затыкай.

— Не держите меня! — кричит. — Пусть хоть раз услышит Одесса-мама, кто есть Микола Мельничук!

Только один раз я видел таким Мельничука. На другой день, шутя над вчерашним «взрывом» своей энергии, он был, как всегда, спокойным и трудолюбивым.

Жаркими вечерами Микола, как староста общежития, спрашивал нас:

— Где спать будем? Здесь или на даче?

— На даче!!! — хором отзывались мы.

— Ну, тогда давайте переезжать!

И начиналось «переселение».

Между узким тротуаром, по которому плыли пешеходы, и проезжей частью улицы-мостовой пролегалла, так сказать, «нейтральная» зона, покрытая зеленым спорышем. Тут, на травке, под раскидистыми акациями и была наша «дача». Каждый из нас брал матрац, одеяло, подушку и занимал свое место на чистом воздухе под звездным черноморским небом.

В двух метрах от наших голов постукивали каблучки прохожих, с другой стороны, в ногах, пролетали экипажи, стучали подковами знаменитые одесские рысаки.

А мы спали — и хоть бы что! Только иногда кто-нибудь, проснувшись, бывало, крикнет шутя «длинному» Мельничуку:

— Подбери ноги, Микола, извозчик летит!..

Все это я вспоминаю совсем не для того, чтобы вызвать у кого-либо запоздалое сочувствие. Наоборот — вспоминаю как милую, далекую юность. И с гордостью. И даю вам слово: готов, если было бы возможно, пройти еще раз через такие общежития и «дачи» молодым, влюбленным в жизнь.

Обучали нас очень хорошие учителя. А программа составлялась так, что техникум давал широкое общее образование. Кроме специальных дисциплин (финансовой науки, торгового права, бухгалтерии, товароведения), мы изучали языки, литературу, историю, экономическую географию, физику, математику, а на последнем курсе — основы материализма.

Узнав о том, что в Одессе есть шесть творческих литературных организаций, мы начали гурьбой ходить на их вечера. Там впервые увидели живых писателей — Мики-

тенко, Багрицкого, Бабеля и Маяковского, часто посещавших Одессу, и многих молодых тогда поэтов и прозаиков. Завязалась у нас крепкая дружба и с рабочими заводов, перед которыми много раз выступал хор техникума.

Коллектив посланцев трудового крестьянства рос, получал образование, и каждый имел возможность проявить свои способности и талант.

...Из бывших молодых кооператоров вышли не только руководители потребсоюзов, а и поэты, и ученые, как, скажем, поэт и доктор филологических наук Степан Крыжановский. Автор четырех писем к родителям Михайло Василенко стал главным инженером мощной электростанции. Бригадир дровоколов, ходящих на заработки, Григорий Куделя, — директор десятилетки. Микола Щербань, которого манила романтика морских просторов, позже на «отлично» окончил институт связи.

Теперь он — авиатор. Четверо стали актерами, режиссерами. В 1960 году, во время декады украинской литературы и искусства в Москве, я случайно встретил около гостиницы высокого черноволосого мужчину, только что вышедшего из «Волги». Присмотрелся — батюшки мои! — да это же он, подолянин Микола Мельничук. Встретились как родные, и я узнал, что теперь Микола — заведующий отделом Министерства сельского хозяйства. И так — о ком ни спроси.

Воспитанные партией, поднятые советской властью до вершин культуры, науки, вот такие они сегодня, бывшие «деревенские мальчишки»!

• МОИ ПЕРВЫЕ КРИТИКИ

Было мне тогда лет четырнадцать. С детства увлеченный стихами, я начал кое-что рифмовать сам. Ни о каких консультациях, «кабинетах молодого автора» и о других литнянях даже не имел понятия, а почитать кому-нибудь написанное ужасно подмывало.

И вот однажды (без путевки, без теперешнего представителя бюро пропаганды) вышел я на аудиторию, состоявшую из четырех дядек, которые покуривали на колоде у нашего амбара.

Вступительное слово произнес мой добрый отец:

— Пытается сочинять. И замечаю, что большое стремление у него к этому делу. Вот и сейчас вертится перед нами, наверное, что-нибудь почитать хочет. Может, послушаем? — Погладил рукой мой чуб: — Читай уж, читай!

И я начал:

По дорозі, з-за діброви
Возять люди гарбузи.
Та такі важкі й здорові,
Аж поскрипують вози.

Не дослушав конца стиха, дядька Харитон бросил с места критическую реплику:

— Вот ведь не мажет, лептай, поэтому и поскрипывают! А мазь же в лавке есть. Целая бадья под стеной стоит!

Помню, где-то в четвертой строфе к словам «полные сил» вставил я для рифмы имя «Василь».

— Это ты, может быть, на Василя Куца намекаешь, другого Василя в нашей стороне нет,— перебил дед Осип.— Не надо и отгадывать, у него ведь все скрипит — и воз, и плуг, и сеялка. Такой уж хозяин!

Я ничего не мог возразить и читал уже концовку стихотворения:

Осінь, осінь. Під ногами —
Жовті листячка лози...
З поля довгими возами
Возять люди гарбузи.

Никаких аплодисментов не было. Аудитория минут пять помолчала, а потом отозвался дядька Олекса:

— Вышло вроде «складно», да только арбузы уже не возят. Я вон свои еще две недели тому назад свез в гумно и накрыл соломой. Сейчас люди уже под зябь папуть!..

На это критическое замечание ответил отец, стараясь выгородить меня:

— Он начал об этом писать, дядя Олекса, еще тогда, когда их возили, и припоздал...

— Опаздывать нельзя ни в каком деле! На свадьбе и пой свадебное! — вставил дядька Харитон.

— А то так! — дополнил четвертый слушатель, дядя Федор.— Кто поет далеко сзади, того не услышат!..

...Такими суровыми были мои первые критики. И хоть вспоминаются они с милой, немного снисходительной улыбкой, я все равно сберег в душе от их добрых советов что-то важное.

НАХОДКА В СТЕПИ



или мы на краю села. Мимо нашей хаты тянулась дорога на Березовку, на Одессу. По другую сторону дороги — широкий выгон, за выгоном — колодец, а дальше степь и степь...

Стояло тихое зимнее утро. Помню, напоил я двух наших лошадей возле колодца, а отец кричит мне с подворья:

— Ты вот что: садись верхом на вороного и немного прокатись степью по снежку, пусть кони поразомнутся, а то совсем застоялись!..

Признаться, я был очень рад такому наказу отца. И вот почему.

Во-первых, заметил я еще ранним утром, как под горой зайцы прогуливаются. А у нас была собака Волчок охотничьей породы. Иногда она догоняла и ловила зайцев, хоть по большей части выходило точно так, как шутил отец: заяц никак не может убежать, а Волчок никак не может догнать... А вдруг сегодня догонит! Словом, в тот день меня сильно тянуло на охоту.

Во-вторых, хотелось посмотреть на степную дорогу, проходящую через гору. Этой почью постучал к нам в окно сосед дядя Семен, всех разбудил и, попросив не зажигать лампы, сообщил:

— Слышите, как грохочут на горе подводы? Это де-пикинцы удирают на Одессу. Видно, сильно их жмут...

Вот и хотелось мне махнуть на степную дорогу: мо-

жет, думал я, там деникинцы какой-нибудь патрон потеряли!

Сел верхом на вороного. Гнедой бежит позади. Сбоку Волчок рыщет по заячьим следам... Еду на гору.

А когда въезжал, то увидел, что вдалеке как будто что-то лежит на краю дороги. Дернул коня за повод — и туда вскачь.

Приблизился, вижу: лежит какой-то квадратный ящик, обернутый желтоватым картоном и накрест перевязанный веревкой. Ясно, что деникинцы потеряли. Попробовал поднять — тяжелый, но не очень.

Меня так и подмывало развязать ящик и посмотреть, что в нем. Но в свои двенадцать лет я, признаться, почему-то побаивался этой находки. Решил, как есть, в завязанном виде, отвезти ее домой. Осмотрелся вокруг, увидел столбик, торчащий на меже двух чьих-то полос, и потащил ящик туда. А там встал левой ногой на столбик и погрузил ящик на вороного.

Все обошлось хорошо. И я уже на коне!

Привожу находку домой.

Выбегают из хаты отец, мать:

— Что ты привез?

— Не знаю, — говорю, — деникинцы что-то обронили...

— Ой, боже! — всплеснула руками мать. — А может, там бомбы!

— Если упало с воза и не бабахнуло, значит, не бомбы, — успокоил отец.

Но все-таки что же это такое?

Пришли соседи: дядя Семен, дядя Василий...

Отец осторожно развязал веревку и, подковырнув топором крышку, воскликнул:

— Здесь еще брезентовый чехол! А вот сверху лежит какая-то красивая коробочка...

Сперва открыли коробочку и увидели в ней розоватую муку. Начали нюхать — пахнет приятно. Дядя Семен взял немного этой диковины, лизнул, поморщился и сплюнул.

— Ну и пакость! — закрыл глаза, подумал. — Ага! Ага! Догадываюсь: вез какой-нибудь офицерик своей барышне пудру, и так, бедняга, бежал, что или потерял, или выбросил. Возьму своей бабе, пусть хоть раз морду себе наштукатурит! — сказал, смеясь.

— А ну, снимай, Иван, брезент!

Снял отец брезент, вынул из ящика и поставил на крыльцо что-то такое красивое, блестящее, с кнопочками, с рычажками, что все глаза повиытаразили.

— Красивая штука! А что она делает — то ли стреляет, то ли шьет, никак не разберешь! — пожал плечами дядя Василий.

— А я вам сейчас точно скажу, что это такое. Сам когда-то эту такую штуку в руках держал, — приблизясь к крыльцу, сказал дядя Семен. Весь он как-то просиял, оживился. — Когда я служил в пехотном полку, то однажды утром выстроил нас фельдфебель и скомандовал: «По порядку номеров рассчитайсь!» Дошла очередь до меня, и я крикнул: «Шестнадцать!» Фельдфебель услышал и дал команду: «Отставить!»

«Не шестнадцать, говорит, а — шашнадцать! Повтори!» — и машет кулаком. Я снова: «Шестнадцать, ваше благородие...» Раз восемь долбил фельдфебель свое «шашнадцать», а у меня не выходило. Тогда он как крикнет: «Пойдешь за это, дурак, полы в канцелярии мыть!»

Меня брало нетерпение, хотелось, чтобы дядя Семен поскорее объяснил, что это такое и для чего, а он продолжал свои воспоминания:

— Пришел я в канцелярию, помыл одну комнату, другую. Захожу в третью, а там за столом сидит интересная барышня. Спрашивает: «Что тебе, солдатик?» — «Мыть пол, говорю, приказано». А она мне: «Ну, тогда перенеси меня в другую комнату». — «Есть, говорю, перенести». Присел, обхватил ее за ноги и поднял, чтобы переносить. Ей-богу, правду говорю. Она как запищит: «Ты что делаешь, дурак? Я велела вот это перенести!» — и показы-

вает на стол и на такую, как эта, штуку. «Извините, говорю, барышня, что неправильно постарался». И она рассмеялась.

Пока дядя Семен заканчивал свой рассказ, я подбежал к находке, снял с нее чистый белый лист бумаги и прочитал написанное бронзовыми буквами: «Ундервуд».

...Вот так, еще не научившись как следует писать пером, приобрел я себе в тот день пишущую машинку. Поставили мы ее во второй половине хаты, чтоб показывать всем, кто к нам зайдет.

А я мечтал: как придет весна, то непременно отпрошусь у родителей отпустить меня в местечко. Там, в волости, есть, может быть, такая машинка. И я целый день с забора или с акации буду наблюдать в окно, как на ней щелкают, а тогда и сам научусь.

Но мои мечты не сбылись. Где-то в конце февраля привели к нам на ночлег какого-то уполномоченного из волости. Переночевал он, уехал, а через пять дней пришла бумага, чтобы сдать машинку.

Когда мы с отцом привезли ее, волостной начальник, по фамилии Иванов, выслушав историю находки, погладил меня по голове и сказал:

— Молодец! На тебе за это красноармейскую звездочку!..

Что делать с этой новой находкой, я хорошо знал: носил ее зимой на шапке, весной — на картузе. Была мне эта звездочка дороже той машинки-недотроги, на которую можно только со стороны любоваться, а поиграть с ней нельзя, иначе попадет от родителей.

Лишь позднее я узнал, что дорогую для меня звездочку подарил мне тогда прославленный революционер с киевского завода «Арсенал» Андрей Иванов, бывший в то время в наших краях председателем ревкома. В память о нем наш старый райцентр так и называется: Андреево-Ивановка!

ИЛЮША ИЗ МОРДОВИИ



один из осенних дней тысяча девятьсот двадцатого года мою степную Левадовку облетела приятная весть: к нам из-под Одессы направляется артиллерийский дивизион, который расквартируется в нашем селе на всю зиму, а может быть, и дольше!

До этого приезжал к нам на разведку командир, и мои земляки-хлеборобы сказали ему единодушно:

— Бойцов разберем по хатам, а пушки поставите воп под тот длинный навес, под которым когда-то пан сушил черепицу. Так что приезжайте!..

Несмотря на то что был я тогда еще мал, но до сих пор хорошо помню, как прихорашивалось село в ожидании гостей, как мой отец прилаживал в доме дополнительную койку для будущего квартиранта...

И вот — на лафетах пушек, верхом на лошадях, на возах с высокими колесами — въехали в село красноармейцы! Въехали воины, те, что еще недавно сражались под Каховкой, отвоевывая для народа землю и волю, а теперь, когда вражеские банды были выметены с Украины, бойцы красного воинства прибыли в наш край на длительный отдых.

В тот день и поселился у нас молодой, по-девичьи стеснительный артиллерист гражданской войны Илюша Тюгаев. Поставив в угол винтовку и повесив рядом с нашей одеждой свою шинель, он сел на лавку.

— А сам-то ты откуда? — спросил отец.

— Из Мордовии! — и встал перед старшим.

— Ты сиди, не нужно вставать!..

Пока они разговаривали, я уже успел примерить Илюшин шлем с красной звездой, за что мне, понятно, немного попало от отца и было строго наказано, чтобы к винтовке «... не притрагиваться и пальцем».

В каждой хате был свой солдат-квартирант. Не прошло и недели, а около колодца уже гомонили бабы:

— Нашего Петром зовут. Из Москвы аж! Симпатичный такой, совестливый, только сильно высокий...

— А наш уже и в хозяйстве начал помогать! — хвалилась другая.

Да как бы они ни гордились своими жильцами, мне, как и моим родным, казалось, что ни у кого нет такого солдата, как наш Илюша Тюгаев. Был он добрым и покладистым, родителей уважал, а к нам, ребятам, относился как старший брат. Вечерами Илюша увлеченно рассказывал про свою Мордовию, о битве под Каховкой, а однажды разрешил мне даже выстрелить в воздух из винтовки! Вставал он рано и, пока мама приготавливала завтрак, сходит, бывало, на колодец за свежей водой, поможет чем-нибудь в хозяйстве.

«Наш Илюша!» — иначе его и не называли в моей семье.

С появлением дивизиона наше степное село, заброшенное на 60 километров от железной дороги, зажило совсем иной жизнью. Раз в неделю политрук дивизиона Бояринцев собирал в сельском клубе селян и читал им политинформацию: рассказывал дядькам, что делается на свете. Голосистые сельские парни и девчата постепенно присоединялись к армейской самодеятельности... Для меня, подростка, даже для моего будущего не малое значение имел еще один факт: славные советские воины в своем обозе привезли в село много книг. Целую библиотеку привезли!

Как рассказал Илюша, эти книги по приказу дальновидного командира бойцы подбирали в разгромленных панских имениях.

Отец знал, что я сизмальства любил читать, и как-то спросил Илюшу:

— А сынок не может брать книжки в вашей библиотеке?

— Это надо вам пойти с ним к нашему командиру, чтобы он написал разрешение...

Никогда не забуду, как взял меня отец за руку и повел в штаб. Высокий, широкоплечий командир, к которому уже обращались селяне за всякими советами, поднялся из-за стола, поздоровался с отцом и, выслушав просьбу, с некоторой строгостью посмотрел на меня:

— А беречь книжки будешь?

— Буду!..

В моем родном селе в старом сундуке покойной матери и до сих пор хранится листочек бумаги, на котором еще и сейчас можно разобрать написанное карандашом:

«Сыну Ивана Олейника разрешаю брать книги в библиотеке. Командир артдивизиона Леонид Говоров».

Да, дорогие читатели! Это был тот самый Леонид Александрович Говоров, который позже, в годы Отечественной войны, стал прославленным командармом, Маршалом Советского Союза! С удовольствием добавлю, что незабвенный Леонид Александрович в те годы женился на моей землячке, Лидии Ивановне, той, что жила через три хаты от нас, а теперь живет в Москве.

Именно в дивизионной библиотеке я впервые взял в руки «Кобзаря» Тараса Шевченко, произведения Некрасова, Кольцова, Никитина, книги, пробудившие во мне любовь к поэзии на всю жизнь. Кроме того, наш Илюша принес мне как-то и ту рукописную книжку, напечатанную на стеклографе, которая выдавалась только красноармейцам. Это был неведомо кем написанный роман «Буйная

жизнь». Книга захватывающе рассказывала о легендарных подвигах Григория Котовского.

...Зима в том году была многоснежной, морозной. А наш Илюша ходил через день в ночной караул. Караулил по-сменно двенадцать пушек, стоявших под навесом. Поужинает, бывало, с нами, возьмет сверток с пирогами или с хлебом и салом, приготовленный матерью, и идет.

А однажды, поздним вечером, было так. Мать, заметив, что отец встал и начал одеваться, удивленно спросила:

— Куда это ты собрался среди ночи?

А отец, слышу, ей отвечает:

— Выходил во двор. Ужасно холодно. Ветер, метель. Беспокоюсь, что наш Илюша в своей шинели и обмотках простудиться может. Пойду отнесу ему кожух и валенки...

Прикрыл тихо дверь и пошел сквозь ночную вьюгу.

Идти ему надо было с километр. И в ту ночь случилось с моим отцом приключение, о котором на следующий день говорило все село. Когда он приблизился к месту, где стояли пушки, вдруг услышал: «Стой! Кто идет?» Не успел отец объяснить, что несет кожух для Илюши Тюгаева, как часовой крикнул: «Ложись!» И дал сигнал тревоги.

Прикрывшись кожухом, отец лежал в снегу, пока не прибежал дежурный караула с бойцами, а с ними и наш Илюша. Встав по команде, отец прошел в караульное помещение, дал там переодеться и переобуться Илюше, а его шинель и обмотки принес домой и положил просохнуть у печи. И, шутя, сказал:

— Молодцы хлопцы, правильно караулят!

Полтора года жили у нас красноармейцы. В каждой хате, в каждой семье стали они как родные. Многие из них, в том числе и Илюша, освоили понемногу украинский язык, вместе с нашими парнями и девушками вечерами старательно пели «Ой, на горі та й женці жнуть!».

Среди них были русские, татары, украинцы, белорусы,

башкиры, и все они были сынами трудового народа. Вот так возникло человеческое чувство дружбы хлеборобов и воинов. Сдружились искренне, ибо жили одними думами и радостями, вместе боролись за новую жизнь! И победили!

Когда Илюше приходило письмо от родных из Мордовии, он садился к столу и читал его вслух всей моей семье: что дома все здоровы, что посевная уже прошла и т. д.

За время пребывания в селе хлопцы посвежели, поправились. Поздоровел и наш Илюша: сделался круглолицым, румяным. Встанет, бывало, перед зеркалом, посмотрит на себя и рассмеется: «Вот это да — округлился!»

Наступил и тот день, когда друзья-бойцы покидали нашу Левадовку, а Илюша Тюгаев покидал нашу хату, семью. Обнял отца, поклонился матери, погладил по головкам моих младших сестер и подошел ко мне:

— Будь здоров, Степан! Расти счастливый, и когда вырастешь — приезжай в мою Мордовию! Ко мне приезжай! Запиши или просто запомни: Пензенская губерния, Саранский уезд, село Подлесная Тавла...

Я ничего тогда не записал, но на всю жизнь запомнил адрес Илюши!

Всем селом провожали мы друзей-воинов, далеко, туда, где начинается буйно-зеленая степь. Они уходили все дальше и дальше за своим командиром Леонидом Говоровым, ехавшим впереди на вороном коне.

Шло время, а письма в мою Левадовку приходили и приходили: нам — из Мордовии, дядьке Семену — со станции Курайгли от Якова Будкова, из теперешнего Узбекистана, дядьке Федору — из Башкирии... Несмотря на то что в те времена еще не был создан братский Союз наших народов, а в мое село уже шла почта братства со всего будущего Советского Союза!

...Случилось так, что до сорок первого года я не смог поехать в Мордовию. А через несколько лет после войны узнал, что артиллерист Илюша Тюгаев в годы тяжелой

войны с фашизмом прошел героический путь от Волги до Берлина. Вернулся он в свой родной край тяжело больным, и вскоре его не стало. Узнал и о том, что его жена и дочь живут там же, в селе Подлесная Тавла!

Шлю им привет и кланяюсь! Как и они, с юных лет я берегу в памяти образ доброго и отзывчивого Илюши из Мордовии!



Приятное дополнение. Этот мой рассказ из «Радянської України» перепечатала газета «Советская Мордовия». Таким образом прочитали его и земляки Илюши Тюгаева. И в редакцию мордовской газеты начали приходить отклики. Вот что писал в нашей «Літературній Україні» 9 января 1973 года мордовский журналист Григорий Прекин:

«...рассказ Степана Олейника «Илюша из Мордовии» вызвал интерес у читателей. В редакцию начали приходить письма. Признаться, этот факт заинтересовал и меня. Я хорошо знал Подлесную Тавлу, не раз бывал там. И вот я снова наведываюсь в село, где, как утверждает автор, до самой Отечественной войны жил бывший артиллерист Илюша Тюгаев. Не терпелось узнать, кто он такой, Илюша Тюгаев, и какова его судьба.

И вот что рассказали мне давний товарищ Тюгаева Тихон Николаевич Алтаев и жена героя рассказа — Елена Семеновна. Илюша Тюгаев боролся за советскую власть на Украине и в родном селе. Когда в Подлесной Тавле организовался колхоз, Тюгаев одним из первых вступил в него.

В годы Отечественной войны Илья Николаевич также был артиллеристом. В боях и военных походах он утратил здоровье и в первые послевоенные годы умер.

Сейчас колхоз имени XVIII партсъезда, который организовали И. Н. Тюгаев и другие активисты — участники

гражданской войны,— один из лучших не только в Кочкуревском районе, а во всей Мордовской АССР.

Узнал я также, что в селе Подлесная Тавла живет внук славного артиллериста — тоже Илюша Тюгаев; в память отца дочь воина Зинаида Ильевна назвала его именем своего четвертого сына.


С уважением вспоминают солдата двух войн в украинском селе Левадовке и в его родном мордовском селе Подлесная Тавла.

Григорий Прекин,
журналист.
г. Саранск».

...Вот такое приятное известие пришло ко мне из Мордовии! Рад, что мое воспоминание о событиях более чем полустолетней давности подтвердилось неопровержимым документом — самой жизнью!

С. О.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУД

анней весной тысяча девятьсот двадцать первого года все мое село облетела весть, что у дяди Ефима пропала овца и возле овчарни обнаружены следы босых человеческих ног. Эту неприятную новость люди восприняли особенно остро, потому что в течение тридцати лет в нашем селе не было ни одной кражи.

На срочно созванном многолюдном собрании председатель сельсовета Костя Плохотнюк сказал:

— Сделаем обыск. Все перевернем, а найдем воров!

Он, должно быть, догадывался, кто совершил преступление. Да и несколько женщин уже нашептывали ему, что в такой-то хате две ночи пьют-гуляют трое парней и одна девка. Прошлой ночью они тоже пировали и пели. На всю усадьбу пахло жареным мясом, а они ни теленка своего не резали, ни кабана не кололи!..

Именно с этого угла и начался обыск. Перетряхнув четыре соседних двора, комиссия зашла в пятый двор, в хату той самой девки Олены.

Правду говорят, что от людей ничего не скроешь. На чердаке у Олены нашли овечью шкуру.

— Откуда это? — спросили Олену.

Она молчала.

...Через полчаса Олену и троих парней вели под ружьем через все село. А на другой день на допросе они сознались в краже.

Тогда Костя Плохотнюк посадил на коней четырех человек и велел им объехать не только наше село, но и соседние села и оповестить людей, что послезавтра, в воскресенье, состоится общественный суд над ворами.

И вот наступило воскресенье. Люди все идут и идут. Из соседних сел на подводах едут. Площадь переполнена. Все пришли — и взрослые и дети. На веранде бывшего помещичьего дома, где теперь находился сельсовет, — стол. За столом — председатель и члены сельсовета.

Вот-вот выведут из погреба «грозу улицы» верзилу Яшку, которого все парни боялись. Предстанет перед судом и молчаливый, приземистый Ониська, единственный на все село запойный пьяница. Выйдет на народ и Сашко, о котором говорят, что он четыре года ходил в первый класс и, кроме «аз», «буки», «веди», ничему не научился, разве что петь басом.

Тут я сделаю маленькое отступление. В нашем степном селе стоял тогда артиллерийский дивизион. Им командовал Леонид Говоров, ставший в годы Великой Отечественной войны прославленным маршалом.

Очевидно, для того чтобы нагнать на воров страх, председатель сельсовета попросил командира прислать на суд тридцать вооруженных солдат. Все они стояли в один ряд — от веранды до погреба, где находились преступники.

— Выведите подсудимых! — скомандовал Костя Плохотнюк.

Солдаты взяли винтовки на изготовку.

Площадь замерла. Воров вывели из погреба.

Вот они встали на веранде и опустили головы.

— Смотрите людям в глаза! — крикнул им председатель.

А потом обратился к народу:

— Тридцать лет мы жили спокойно и только слышали, что есть села, где меж честных людей водятся воры.

А теперь и у нас ворюги завелись. Вот они стоят перед вами!

Костя Плохотнюк подошел поближе к подсудимым и велел каждому в отдельности:

— Смотри прямо и говори, чей ты есть, кто твои мать, отец... Громче говори! — прикрикнул Костя.

Те выходили вперед, говорили, кто они, называли своих родителей.

И тогда председатель обратился к собранию:

— Был я в волости. Рассказал о нашей беде. И мне так посоветовали: как народ решит — так и делать. Скажет народ: расстрелять, тут же и расстреливать, чтобы все знали, что значит красть!..

Он говорил, а люди тяжело вздыхали. Некоторые женщины начали всхлипывать. А мы, мальчишки, дрожали от страха.

Первым от схода выступил седой дед Осип.

— Я так думаю, — сказал он, — что расстрелять их есть за что. Ведь для чего нам в селе воры! Хоть, правда, и жалко их, дураков, а еще больше ихних родителей жалко. Пускай попросят у людей прощения, а тогда уж оно будет видно...

— Пусть просят! — зашумел сход.

— Просите! Их, людей, просите! — воскликнул председатель и показал на площадь.

Сложив руки как на молитве, преступники упали на колени и поклонились:

— Просим прощения!..

По площади прокатилось:

— Бог простит!..

— Второй раз просим прощения! — умоляли побледневшие преступники и снова поклонились до земли.

— Бог простит!.. — отвечали две тысячи голосов.

— Третий раз просим прощения! — поклонились воры и уже до тех пор не поднимали головы от земли, пока толпа не прогудела:

— И мы прощаем!

И только после этого подсудимые встали. Вытерли рукавами слезы и с минуту смотрели в глаза собравшимся людям.

— Идите и живите честно! — сказал им председатель.

И в то же самое мгновение в толпе на площади пронзительно вскрикнула старая женщина. Это была мать высокого и здоровенного Яшки, которого только что простил народ. Не выдержав позора и горя, старушка лишилась чувств.

Взволнованное собрание расходилось по домам. По одной из улиц села, среди людского потока, Яшка нес на руках заплаканную мать...

...После этого суда много лет мои земляки не слышали в своем селе ни о каком воровстве.

МОИ ПЕРВЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ



моем степном селе Левадовке на Одещине стояла горячая пора. Солнце еще только золотило краешек неба, а крестьяне спешили на поля. Вот уже шестой год мои земляки-хлеборобы сеяли и косили не панское и не для папа, а свое и для себя.

В те годы большой популярностью пользовалась в нашей округе сельская газета «Червоний степ». Читал и я эту газету. И часто мне было очень обидно, что про другие села пишут в ней в каждом номере, а про мое село ни разу и не упоминалось.

И вот однажды вечером, когда родители и младшие сестры уже спали, я вырвал из школьной тетради два листа, тихонько пробрался в другую половину хаты, зажег каганец и сел писать свою первую в жизни корреспонденцию.

Но как же ее писать?

И как назвать?

И опять-таки: кого из односельчан упоминать, а кого нет? Вот, скажем, сосед дядя Василий. Писать про него или не писать? Он как будто и старается, и спешит всегда на поле, но ведь растяпа: полетел вчера еще до рассвета на пашню, а потом, смотрим, гонит коней назад, сердитый, потный.

— Почему вы вернулись, дядя? Ночью, что ли, сеяли? — спрашивают люди.

А он кричит с воза:

— Да вот спешил и плуг взял, а скат от плуга, тряся его лихоманка, забыл дома.

В долгих «творческих муках» было решено, что про дядю Василия писать не стоит.

Наконец я уяснил себе, о ком и о чем буду писать. Свою корреспонденцию я назвал «Левадовка начала сев».

Заклеил конверт и написал:

«Одесса, Пушкинская, 32, редакция газеты «Червоний степ», телефон 38-41».

Мне казалось тогда, что самым главным там, в редакции, является тот самый телефон. Почему так казалось — не знаю. Вероятно, потому, что в ту пору я телефона еще не видел.

Не успел написать внизу свой адрес, как на пороге появилась моя матушка, Наталья Васильевна:

— Ты что это пишешь! Просидел всю ночь и не успел поспать. Отец вон уже коней запрягает, в поле ехать пора. Вот несчастье!

Попало мне крепко, но конверт я все-таки опустил в почтовый ящик.

А через неделю... трудно передать мою радость! На второй странице «Червоного степу» была напечатана моя заметка.

Читало ее все село.

Эта удача меня так ободрила, что я в ту же ночь написал сразу две заметки: о работе кооператива и о старой сельской мельнице.

На этот раз застал меня ночью за столом отец. Он не рассердился. Только глубоко вздохнул, ласково погладил меня по голове и сказал:

— Ну что ж, если у тебя такое нетерпение, пиши, сынок. Но пиши правду. Боже тебя сохрани что-нибудь солгать...

«Кооператив» напечатали, а «Старую мельницу» забраковали.

Четыре раза напечатался я на протяжении месяца.

И именно после четвертой заметки начались мои «творческие горести» и даже слезы. Был в нашем селе заведующий сельским клубом Сашко Хуторенко. Односельчане уважали его за хорошую работу. Но, должно быть, не хотел Сашко, чтоб кто-нибудь из села кроме него писал в «Червоний степ» (хотя сам он почему-то не писал).

Так вот, этот заведующий нашим сельским клубом посылает моему отцу записку: «Пусть ваш сын немедленно явится ко мне по очень важному делу».

С этой запиской я и явился к нему. Завклубом сел за стол, хмуро посмотрел на меня и начал:

— Значит, пишешь, да?

Комкая картуз, я кивнул: пишу, мол.

Он скрутил сигарку, закурил, вышел из-за стола и начал быстро ходить по комнате. Потом обратился ко мне.

— Скажи,— спрашивает,— для того, чтобы газету печатать, бумага нужна?

— Нужна.

— А скажи: эта бумага стоит денег?

— Стоит.

— А тем людям, что по одной букве набирают твою писанину для газеты, а после этого ночами не спят и печатают тысячи экземпляров, зарплату выплачивать нужно или нет?

— Нужно,— говорю.

— А тем, кто газеты пакует, носит, развозит, нужно платить деньги?

— Нужно.

Я уже догадался, о чем идет речь, и мне стало страшно. Завклубом, видно, заметил это. Он снова сел за стол

и закончил свою правоучительную беседу такими словами:

— Вот пришлют на днях отцу квитанцию, чтобы оплатил все эти затраты на твои заметки, тогда возьмет отец кнут и так тебе пропишет, что будешь знать, сколько стоит твое сочинительство.

Я со страхом представил себе такую картину: приносит почтальон квитанцию, отец меня ругает, мать на меня гневается, потом они везут на базар продавать пшеницу и ведут телку на торговую площадь... И мне уже слышался их упрек: «Дописался!»

Сгорбившись, я вышел из клуба.

Выслушав меня, отец сказал спокойно:

— Перестань всхлипывать. Если скажут платить, так и заплатим. Что ж поделаешь!

А через три дня, в воскресенье, к нам через огород в самом деле шагал почтальон.

— Здравствуйте, дядя Иван! Тут вам пришла какая-то квитанция на девять рублей сорок копеек.

Отдал квитанцию и пошел дальше.

Мы решили, что это именно та злосчастная квитанция, о которой говорил мне завклубом, поэтому не стали ее читать.

Если б вы знали, как я в этот день старался меньше попадаться на глаза, как прилежно хозяйничал во дворе, чтобы хоть немного искупить свою вину.

В понедельник родители поехали на базар, ведь помимо всего им надо было там явиться на почту. Я отправился в поле.

Вернулся домой перед вечером, зашел во вторую половину хаты и не поверил своим глазам: на столе было чисто прибрано, на нем вместо каганца стояла красивая керосиновая лампа и лежала новая тетрадь. Читатель догадывается, что произошло. Родители получили мой первый

селькоровский гонорар. И сразу же позаботились о моих «творческих условиях».

Навеянный мне Сашком Хуторенко страх рассеялся. Я начал писать смелее: о жатве, о работе комсомола, а позже стали появляться в «Червоном степу» и мои первые стихи.

В 1929 году, вернувшись с Первого Всеукраинского совещания рабселькоров (делегатом которого мне довелось быть), я подошел к завклубом и шутливо сказал:

— Пишу и буду писать.

С тех пор вот и пишу до сего времени.

ДЯДЬКА СЕМЕН



Я помню его с детских лет. Среднего роста, смуглый, живые и чистые, как у юноши, серые глаза. На левой ноге, ниже колена, — деревяшка, подарочек фронтового лазарета первой мировой. Рассказывая о солдатской жизни в окопах, дядька Семен хлопал ладонью по деревяшке:

— Одним словом, заслужил у царя-батюшки за два года вот эту кувалду. Прыгаю на ней, а когда понадобится — скину и гвоздик ею забью. Очень практичная штука!..

Шутил, веселил и себя и людей. И так наловчился он закидывать свою кувалду, что, бывало, редко кто мог угнаться за ним на своих здоровых ногах. Шагал на деревяшке за плугом, ездил с ней верхом, переносил мешки и даже ради развлечения боролся с парнями на соломе.

Самым большим достоянием, полученным «от бога», был его голос. Нежный и, казалось, до самых звезд высокий, раздольный тенор. Когда к вечеру, возвращаясь с поля, дядька Семен запевал песню, то не только наше, а и соседние села, тянувшиеся по широкой долине, слышали, как

Умер бедняга в больнице военной,
Долго, родимый, лежал!..

Прельщали в этой песне дядю Семена, пожалуй, больше вариации мелодии, а не слова, которые он выпаливал все одним духом, вплоть до последнего слога, а на послед-

нем, демонстрируя свой голос, закрутисто варьировал: «Лежа-а-а-а-ал!» Не раз в нашем сельском клубе, в кругу коренастых степовиков, выводил он «Та й немає гірш нікому, як тій сиротині».

И как бы ни гудели могучие баритоны и басы, тенор дядьки Семена перекрывал их.

Гуляли ли в селе свадьбу, справляли ли крестины или дни рождения — его обязательно приглашали на такое событие. А иначе с кем же петь, если дядьки Семена не будет? Были в его репертуаре, так сказать, сольные номера. Особенно ему почему-то полюбилась песня:

А я їхав, а ти спала,
А я свиснув, а ти встала.

Соберется, например, на вечеринку молодежь — парубки да девчата, начнут петь, а у них как-то не клеится. И тогда кто-нибудь непременно скажет:

— Пошли за дядькой Семеном!

Постучат ему в окно, разбудят его, и он никогда не откажет, пойдет. Посадят его, уже седого, между самыми красивыми девчатами и попросят: «Пойте, дядя Семен!»

И так напоятся, что потом будут целую неделю, а то и две вспоминать об этом.

Шли годы, а его голос не менялся. Иногда даже бывало так, что за ним приезжали парни из соседнего села с фургоном и, как шутил дядька Семен, брали его «на прокат»...

Напоеется с ним одно поколение, отгуляет свое, переженится, подрастет другое! Потом третье, четвертое поколение поднимется... Поет и с ними дядька Семен!..

И, может быть, именно потому, что всю жизнь его окружала молодежь, он так и не старел душой. Всегда он был бодрым, энергичным, молодецки-лихо покашливал, прохаживаясь по своему двору.

Даже в то время, когда хлеборобы горевали о том, что давно нет дождя и над степью дуют суховеи, дядька Се-

мен находил какую-нибудь шутку или песенку, чтобы хоть немного развеселить своих односельчан.

Когда в селе организовали колхоз и в степи, за третьей горой, расположилась тракторная бригада, дядька Семен в течение десяти лет работал там сторожем... Бывало, выйдет кто-нибудь из хаты в летнюю или осеннюю ночь и слышит, как далеко-далеко разносится песня...

Пел людям, себе, высокому небу и широким степям!

И в одну из летних ночей, в той же бескрайней причерноморской степи, оборвалась его песня. Случилось это на пятнадцатый день минувшей войны. Сторожил дядька Семен свой трактора и собирался варить себе ужин. Уже закипал суп, как вдруг в небе взревели вражеские самолеты, а через несколько минут в землю ударили трассирующие пули. Заметив огонь, фашисты остервенело строчили из пулеметов.

Сообразив, что происходит, дядька Семен лег на землю, снял свою деревяшку и замахал ею в ревущее небо.

— Я уже отвоевался, слышите, гады! — крикнул на всю степь.

И замолк...

До самого рассвета в поле пели одни кузнечики да перепелки. Утром пришли трактористы и застали его недвижимым, с деревяшкой в правой руке...

Если будете ехать через мои края и за селом Левадовой увидите кладбище — поклонитесь! Там спит вечным сном и мой добрый земляк, хлебороб дядька Семен, который весь свой век прошел об руку с молодежью, с песней!

ВАСИЛИНА

Не было такого дня, чтоб она, хоть на минутку, не зашла к моей матери. Иногда по делу, а иногда просто зайдет проведать. Голубоглазая, всегда немного мечтательная и неизменно непосредственная и сердечная: чем взволнована, о чем думает — все расскажет.

До сих пор помню одно ее посещение.

Скрипнула дверь. Вошла Василина. И чтоб «не засидеться», встала у двери. Прислонилась к косяку и вот уже рассказывает о своих тревогах.

— Проходите же да сядьте, Василина,— упрашивает мать.

— Некогда сидеть, Наталья, у меня тоже печь топится. Забежала вот к тебе, чтоб поделиться моей бедой. Я так тревожусь, так тревожусь, что уже и голова не выдерживает. Может, ты посоветуешь, что мне с ним делать и что ему, этому Ивану, сказать...

Иван — ее старший сын, рослый и красивый парень. В свои двадцать четыре года он не только землю любил — успел влюбиться по самые уши в черноглазую девушку Галю. А тетке Василине почему-то казалось, что Галя будет не той невесткой, какую она ждет: говорят, и хату побелить Галя не умеет.

И вот стоит тетка Василина, держится за дверную ручку и жалуется:

— То ли она его приворожила, то ли еще что! Этой

ночью пришел домой на рассвете. Ходил на дыпочках, искал что поест. И так тяжело вздыхал, словно больной. А потом во сне разговаривал, пока я его не разбудила. Ей-богу, она его приколдовала!..

Мать пыталась развеять ее тревоги, хвалила Галю, говорила, что Галя красивая, из хорошей работающей семьи. Да тетка Василина словно этого не слышала:

— Эге, не отговори его, не отсоветуй, так влезет, как слепой теленок, в яму, а тогда весь век будет мучаться. Лежит вот сейчас на животе в саду и что-то пишет, наверно, письмо ей. Не наговорился за ночь!..

Вздыхнула, задумалась, помолчала немного и начала уже по-иному громко жаловаться:

— Ну да! Отсоветуй, отговори, а он, глядишь, возьмет какую-нибудь чокнутую и всю жизнь будет на тебя в обиде. А что — разве мне жить с Галей! Пускай женится! Правда, Наталья!.. Посеяли две десятины кукурузы, работы много, а невестка как-никак все-таки подмога. Сложим печь в другой половине хаты, и пусть живут...

Высказала еще несколько соображений и «за» и «против». И вдруг как будто пробудилась ото сна:

— Да что же это я стою, там же у меня печь топится!..

Тут как раз кто-то дернул дверь снаружи. На пороге появился младший сын Василины, Андрей.

— Мама, идите домой, Иван написал и понес в сельсовет заявление, чтобы расписаться с Галей.

Тетка Василина всплеснула руками, по-матерински ласково усмехнулась и сказала:

— Слава богу! Я же вижу, что он что-то такое важное сочиняет, словно на воловьей шкуре пишет. Слава богу! Теперь я перестану печалиться и голову ломать... — и побежала.

А через минуту вернулась и прямо с порога:

— Ну и что из того, что Галя не умеет красиво побелить в хате! Закрою дверь на крючок, сама побелю, а лю-

дям похвастаюсь, что это сделала она. Да разве я ее не паучу! Своих же девок всех научила!..

— Ну конечно так! Она же еще молодая! — поддержала мать.

— Ну, так прощайте!..

Чистая в своей искренности, непосредственная и светлая и в своих радостях и в горестях — такова она, моя односельчанка, когда-то тетка, а теперь уже бабка Василина. Наверно, за эту сердечность и полюбила ее невестка Галя на долгие годы.

...Минувшая война принесла Василине тяжкое горе: Иван, как говорит она, «пришкандыбал, подстреленный в ногу...». А младшие сыновья, Андрей и Остап, с войны не вернулись. Были в одной части и оба погибли в селе Ниструле, освобождая Молдавию от фашистов.

— Ездил я к ним! — рассказывала мне после Василина. — Шестнадцать там могилочек за селом. А в какой Остап, в какой Андрей — разве кто скажет! Наплакалась над каждой, да и поехала...

Два года тому назад я снова был в селе. Проведал и ее, старушку.

— Как живете, тетка Василина?!

— Да ничего. Спасибо. Сажу и горюю, что пошла Галя на базар, а на улице такой холодный ветер...

Потом мне было видно с отцовского подворья, как тропкой через пирокую долину, с теплым платком под мышкой, пошла Василина сквозь ветер навстречу Гале...

Я смотрел ей вслед и думал: десятки юношей и девушек из нашего села учатся теперь в техникумах, институтах, изучают, как говорится, высокие материи, некоторые земляки уже на руководящей работе. Но многим из них, думал я, нужно еще долго учиться у тетки Василины сердечной простоте, искренности и такой чистой, как материнская слеза, человечности!

БЕЗ ЛИШНЕГО



было это в 1929 году, летом, на собрании в сельском клубе. Обсуждали постановление райисполкома о том, что весь хлеб с поля нужно свезти в скирды. Выступало много ораторов.

Во время одного выступления в конце зала поднялся дед Герасим:

— А мне можно сказать?

— Подождите, закончит вот товарищ, тогда и вы скажете.

— Нет, дайте сейчас скажу, а то забуду.

Пробрался вперед и начал:

— Я без лишнего. Я по сути. Как оно было, так и скажу. А было это вчера. Еду это я со своим сыном Федькою оттуда, из-за леска, где у меня был пар в прошлом году, где теперь Чалаприндова кукуруза. Взяли мы на арбу немного — так, может, копну, может, полторы взяли. Доезжаем вот сюда к горе, и, ясное дело, коням тяжело, так мы и послезали. Федя, мой сынок, идет вот так сзади, за возом, а я — кнут и вожжи в руки, и это, значит, торк-торк, тюп-тюп, кить-кий... Одним словом, гайда-гайда, гайда-гайда... Едем мы да едем и помаленьку взобрались на гору. Туда вон, на вершину горы, где те две жердели, как раз на то место, где я в прошлом году брус потерял. Солнышко уже за полдень перевалило. Сбоку вот так около дороги пасется стадо. Ну, Федька влез на воз сзади и лег на снопах, а я спереди влез. И вот, значит,

едем с горы — кить-кий, гайда-гайда. Доезжаем вниз до Андреевой гречки, а тут, как на грех, откуда ни возьмись борозда... Трах! Хрясь! Тпру-у! Что такое? Я с воза, Федька за мной. Эге-ге! Смотрю, а мое заднее колесо кренится, кренится и, значит, того... сломалось.

Ну что ж, раз такая беда, говорю парню, бери коней и веди их домой, а я с этим колесом пойду к Кирюше, к нашему, значит, кузнецу...

Взял я, товарищи, то колесо и кить-кий, гайда-гайда. Дохожу до мельницы, а тут как раз навстречу идет с базара мой кум, Василь Бондаренко. Да он же вон там сидит и не даст сбrehать. Встретил я его: «Здравствуйте!» — а он: «Доброго здоровья», а потом спрашивает: «Что это у вас за беда с колесом?»

Ну раз человек интересуется, так я ему, товарищи, и рассказываю, куму, спачит.

Еду это оттуда, говорю, из-за леска, где у меня в прошлом году пар был, где теперь Чалаприндова кукуруза. Взял, рассказываю, на арбу немного, так, может, копнү, может, полторы. Доезжаем, говорю, вот сюда к горе, и ясное дело, коням тяжело, так мы и послезали. Федя, мой сынок, идет так сзади за возом, а я — кнут и вожжи в руки, и это, значит, торк-торк, тюп-тюп, кить-кий. Одним словом, гайда-гайда, гайда-гайда... Вобразись, рассказываю, помаленьку на гору, туда, на вершину, где те две жердели. Солнышко, говорю, уже за полдень перевалило. Сбоку вот так около дороги стадо пасется. Как раз на том месте, где я в прошлом году брус потерял... Да чего вы смеетесь (к публике). Это я куму, значит, рассказываю... Федька, говорю, влез на воз сзади и лег на снопах, а я спереди влез. И это, значит, с горы кить-кий, гайда-гайда. Доезжаем вниз до Андреевой гречки, а тут, как на грех, откуда ни возьмись борозда. Трах! Хрясь! Тпру-у! Что такое? Я с воза, а Федька за мной. Эге-ге! Смотрю, а мое колесо кренится, кренится и, значит, того... Вот, говорю, йду с ним к кузнецу.

...Хохотал, заливался зал из-за этого колеса. И тут председательствующий не выдержал:

— Ну, вы скоро, дедусь, эту историю с колесом закончите? А то вот уже и лампа гаснет.

— Да-да. Я уже и к кооперативу подхожу... Не перебивайте! Вы тут каждый день выступаете, а я один раз вышел на трибуну и расскажу все, как оно было!.. Мимо школы около артели гайда-гайда и таки пришел на тот край. А возле кузницы собралось много народу: вот так, сбоку, сидел Петро Величко, так — Яшка Чимчик, вот так, слева, сидела Явдоха. Та самая Явдоха, что приходится женой тому высокому, который за камышом живет, где та канава. Да все равно вы не знаете того человека. Поздоровался я с людьми: «О, говорят, дед Герасим пришел! Как это вы на наш край забрели! Что у вас за беда стряслась!» Ну, раз люди спрашивают, что за беда, так я им и рассказываю: еду, говорю, оттуда, из-за леска, где в прошлом году у меня пар был, где теперь Чалаприндова кукуруза... Одним словом, все сначала им рассказал. Так вот, говорю, пришел к тебе, Кирюша, чтобы ты мне колесо починил. А он: то угля нет, то то, то другое. А потом взял меня, товарищи, вот так за эту пуговицу, отвел в сторону и говорит: «Дашь десять рублей — сделаю». Вот какие у нас кузнецы. Так вот и я хочу сказать по существу: раз мы все делаем сообща, то пусть же и кузнец присоединяется к нам. Чтобы дружно и хлеб возить, и, если надо, воз починить. Вот такой мой пример, и я кончил.

ОТ АВТОРА

Это выступление деда Герасима на собрании слушал и я. И оно так мне запомнилось, что я не раз пересказывал его своим друзьям. А однажды — точнее, в начале ноября 1933 года — произошло вот что: в актовом зале нашего

Одесского пединститута, шел вечер, посвященный шестнадцатой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Закончилась официальная часть. И ведущий объявил:

— После перерыва состоится концерт, в котором примут участие известные артисты одесских театров.

Артисты еще должны были прибыть, и мы, студенты, стояли группками в длинном коридоре и как могли развлекались: шутили, рассказывали всякие веселые истории, анекдоты.

К этой самодеятельности подключился и я и начал копировать выступление того деда «без лишнего». Память у меня была очень хорошая, и я не пропустил ни одной детали, ни одной подробности. Друзья-студенты раскатисто смеялись. Особенно в том месте, где мой герой третий раз слово в слово повторял свой рассказ...

Закончил я этот монолог деда и...

...И кто-то положил мне руку на плечо:

— Чье это произведение вы читали?

Оглянулся я и своим глазам не поверил! На меня смотрел молодой, улыбающийся, любимый всей Одессой артист украинского драмтеатра Юрий Васильевич Шумский. Оказывается, придя на концерт, он остановился около нас в коридоре и вместе со всеми слушал мой устный рассказ.

— Кто это написал-то, что вы читали? — спросил еще раз.

Пораженный этой неожиданной встречей, я ответил, что это никакое не произведение, а выступление на собрании моего односельчанина.

— А как вас зовут? — приветливо улыбаясь, спросил Юрий Васильевич.

— Олейник Степан! — говорю.

— А где вы живете, товарищ Олейник?

— В общежитии на Комсомольской, пятьдесят девять, комната семьдесят семь, — отчеканил я.

Юрий Васильевич достал сипенький блокнотик и записал мой адрес, а потом сказал:

— Прошу вас дать мне это выступление. Вы его запишите, а я зайду к вам. Хорошо? Когда можно зайти?

Договорились на завтра, на 5 ноября, в четыре часа дня... В коридоре прозвучал третий звонок, и все поспешили в зал.

...На другой день встал я чуть свет, чтобы до прихода Юрия Васильевича записать, а потом раза четыре переписать рассказанное вчера. Оказалось, что это не так легко сделать. Трудность заключалась в том, что процесс устного рассказа проходит в динамичном темпе, а записывание — в совершенно другом темпе, поэтому некоторые подробности и детали теряются. Вот мне и пришлось много раз править и переписывать вновь.

Около четырех часов дня я прохаживался вдоль нашего общежития, посматривая во все стороны. Волновался... (В те времена студенческая молодежь, состоящая в основном из детей рабочих и крестьян, как-то особенно сердечно и глубоко уважала и деятелей сцены и мастеров слова!)

И вот вижу — идет! Известный и любимый артист, которому уже столько лет горячо аплодирует Одесса, идет ко мне в студенческую комнату, убранную и приведенную нами, ее жителями, в порядок еще вчера вечером!

Поздоровались и быстро (без лифта) поднялись на четвертый этаж.

После короткой беседы о нашем студенческом житье-бытье Юрий Васильевич шутливо сказал:

— А ну-ну, где он там, ваш земляк-оратор? Показывайте! Сейчас мы с ним заведем знакомство, а возможно, и дружбу!

Взял написанное мной и начал читать. Потом еще раз внимательно перечитал. И только после этого от души рассмеялся.

— Хорошо, но мне кажется, что здесь не все то, что я слышал...

Немного подумал и добавил:

— Знаете что? Расскажите все, как вчера! Не спешите и ничего не пропускайте.

И я рассказал. А Юрий Васильевич слушал и посматривал в мою рукопись. Когда я дошел до того места, где председатель собрания перебивает деда: «Ну, вы скоро закончите эту историю с колесом? Закругляйтесь, а то и лампа вон уже гаснет», а дед ему отвечает: «Да, да! Я уже до кооператива дохожу», — Юрий Васильевич поднял руку:

— Стоп! Лампу и кооператив вы как раз и не записали.

Потом еще в двух местах он «поймал» меня на какой-то пропущенной фразе.

Я, конечно, все дополнил, дописал. Юрий Васильевич поинтересовался, из каких я мест родом, на каком курсе учусь...

Потом, энергично встав, пожал мне руку:

— Почти гарантирую успех и себе и вам! Бывайте здоровы, а то мне тоже пора «кить-кить, гайда-гайда»...

И уже в дверях оглянулся:

— Появится у вас что-нибудь новенькое, давайте!

Получилось так, что впервые я услышал свое произведение в его исполнении только в 1935 году, в степном таврическом селе Бехтеры на Херсонщине, где по окончании пединститута учительствовал в сельскохозяйственном техникуме. Из Москвы транслировался заключительный концерт украинской декады литературы и искусства. Из Большого театра Союза ССР. «Выступает заслуженный деятель искусств Украины Юрий Шумский!» — объявил конференсье.

И Юрий Васильевич, войдя в роль моего деда Герасима, начал рассказывать. Когда зал снова и снова громко смеялся, он останавливался. А потом катил это колесо дальше: гайда-гайда, кить-кить!..

Москвичи смеялись, а мы с женой, затаив дыхание, слушали молча, тихо-тихо.

...С удовольствием и благодарностью я всегда вспоминаю большого, воистину Народного артиста Юрия Васильевича Шумского, который так доброжелательно отнесся ко мне и первым понес мое слово людям!

ОХ И ПОПАЛО ЖЕ КОНЯМ!..

Было это на Полтавщине. С блокнотом в кармане, тогда еще молодой, шел я из райцентра в село Малые Шипачки.

Многие из тех, у кого я спрашивал, говорили мне одно и то же:

— Если пойдете вон той степной дорогой, то будет ровно семь километров.

Иду час. Уже и полтора иду... Слева белеет гречка, справа волнуется высокая пшеница, а Малых Шипачков еще и не видно.

Вдруг смотрю — навстречу едет подвода. Дорога сухая, комкастая...

На подводе сидит на доске, положенной поперек телеги, толстый дядька. И его так трясет, так подкидывает, что даже картуз на нем подскакивает.

Я поднял руку. И он протяжно выкрикнул:

— Тпру-у-у!

Поздоровались. Натянув вожжи, дядька встал на возу.

— Далеко ли еще до Малых Шипачков? — спрашиваю. — Сказали, что семь километров, а выходит что-то не то. Далеко еще?

После некоторой паузы дядька приступил к объяснению:

— Если точно вам сказать, то это будет, чтоб не со-
врать вам, ну не больше как...

Но не успел он докончить фразу, как кони дружно рванулись так, что дядька едва-едва не упал.

— Тпру-у-у, чтобы вы взбесились! Глянь, какие проворные! То никак с места не стронешь, а то не устоят, проклятые!

В воздухе засвистел кнут.

— Тпру-у-у! — дернул он еще раз за вожжи. И снова повернулся ко мне.

— Сколько километров? Километров сколько? — переспросил я, чтобы долго не задерживать человека.

— Так я ведь это и хочу вам сказать, а они, видите, какие скоты... Если брать вот с этого места и до самого села... Вам в колхоз или в сельсовет?

— В колхоз...

— Значит, вот отсюда дотуда будет...

Но кони рванули снова.

— Чтобы вы пропали! — крикнул дядька.

И тогда поняв, что кони не дадут ему поговорить всласть, сел на доску и, отъезжая, кинул сухо и сердито:

— Морочите голову! Триста метров с горки пройдет — и Малые Шишачки.

...И сколько я ни оглядывался, он все хлестал коней кнутом за то, что не дали ему поболтать в охотку!

И СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!



Началась эта история с того, что меня вечером срочно вызвали в редакцию газеты «Вісті», вручили командировку и сказали:

— Поторапливайся! До отхода поезда осталось всего два часа, а у тебя ведь и билета еще нет...

Ехать предстояло в один из районов Киевщины, где на следующий день утром должно начать работу совещание, в котором примет участие известный академик-почвовед. Мне было поручено дать подробную информацию об этом совещании.

Я забежал домой, наскоро собрал свой чемодан — и на вокзал.

А на вокзале — тьма народу! Сутолока, галдеж, под окошечками касс битком набито — мужики, бабы!..

По своему удостоверению и командировке я имел право на билет вне очереди. Но попробуй проберись к кассе! Да еще с чемоданом!

В углу вокзала дремали на лавке какие-то тетки. Я подошел к ним и попросил:

— Будьте добры, если можно, разрешите поставить мой чемодан возле ваших вещей.

— Хорошо, — говорят, — кладите...

Пробрался я кое-как к кассе, ткнул в окошечко через головы стоящих в очереди свои документы, деньги. И, когда меня выдавили из толпы с билетом в руке, я услышал за спиной:

— Здорово, Степан!

Оглядываюсь — улыбается мне мой давний товарищ Осип Велимовский, с которым вместе учились в Одесском пединституте. Большой шутник, веселый и всегда улыбающийся — таким и тут он стоял передо мною. Казацкие усы, лукавый, с искринкою взгляд...

— Куда это ты? — спрашивает.

— Да еду, — говорю, — в командировку.

— Ну так я провожу тебя.

— Спасибо! Только давай пробьемся вон туда в угол, свои вещи возьму.

Подхожу, а женщины, которым я поручил свой чемодан, так сладко спят, что мне жалко стало их будить. Пусть, думаю, отдыхают, быстро взял свой чемодан и пошел. А Осип Велимовский за мною.

Когда уже выбрались на перрон, я его спросил:

— А ты куда едешь?

— Никуда, — говорит. — Провожал знакомого, да вот тебя встретил.

— А почему ж ты с вещами? — спрашиваю его, так как в руках у него вижу большую корзину.

— Да это же я тебе помогаю: ты взял чемодан, а я — корзину. Разве она не твоя?

— Конечно, не моя! Это вещи тех женщин!..

Бросились мы обратно на вокзал.

А там на чем свет стоит прокликает меня тетка:

— Подошел, задобрил нас, проклятый, а потом вишь что сделал! Пропал пуд картошки! Чтоб ты ею подавился! — И в плач.

А тут и мы подходим.

— Тетя! Вы послушайте, тетя, что вышло! — И, краснея от стыда, стали рассказывать, как все это случилось.


Люди недоверчиво поглядывали на нас, а какой-то дядька еще и добавил:

— Балакай, балакай!..

Пришлось мне и моему товарищу показывать документы, без конца извиняться за неосмотрительность, сделать все, чтобы люди поняли нас, потому что нет ничего горше, как носить в душе хоть капельку людского подозрения и недоверия.

И они, спасибо им, поверили. Зато из-за этого происшествия я чуть на поезд не опоздал.

ЭТО БЫЛО В ГОСТИНИЦЕ

 В самом центре шахтерской столицы есть гостиница «Донбасс». На втором этаже гостиницы есть комната номер 63. Вот сейчас я сижу за столом в этой комнате и пишу о том, что случилось здесь десять лет тому назад.

Я приезжал тогда в донецкий край изучать жизнь шахтеров. Вставал с зарей, ехал к горнякам и возвращался в гостиницу уже вечером. Комната моя была на двоих. Часто, возвращаясь, я заставал в ней нового соседа. Вначале жил со мной в этом номере бухгалтер, потом молодой боксер, а еще через несколько дней — настройщик пианино. А однажды часа в три дня я открываю дверь и застаю в номере такую картину. За письменным столом сидят четверо коренастых дядей. На столе, накрытом газетами, возвышается бутылка с водкой. Из раскрытых консервных банок тянет запахом маринованного перца, соленых огурцов, помидоров... Уши и шеи у дядек уже красные, прямо пышут...

— О, наверное, мой сосед прибыл! — отозвался один из них.

Поздоровавшись, я подтвердил его догадку.

— Ну так, может, с ходу и того... хлопцы, дайте еще одну стопку!..

Скажу правду: мне понравились эти дядьки, закусывающие с таким аппетитом. Приятно было и то, что они так приветливо встретили меня.

А я как раз десять минут тому назад поел в ресторане на первом этаже нашей гостиницы и поэтому не мог принять участие в их трапезе.

Я поблагодарил за гостеприимство и сел на край кровати читать газету.

— Ну, что, хлопцы, будем кончать эту отраву! — подморгнул мой новый сосед и разлил остаток первача в стопки.

Только они опрокинули стопочки, только фукнули и схватились кто за огурчик, кто за кусок сала, как неожиданно открылась дверь, и на пороге появился пятый дядька, с кнутом в руке.

— Здравствуйте!

А из-за стола ему хором:

— Вы зачем приехали, дядя Матвей?

— Сейчас скажу! — Дядька Матвей молча расстегнул сначала плащ, потом кожух, затем фуфайку и, запустив руку во внутренний карман пиджака, долго что-то ловил там пальцами, а потом сказал: — Директор послал отвезти вам вот эту записку...

Все притихли, а сосед мой прочитал:

— «Товарищ старший агроном! Немедленно приготовьте по форме сведения о подготовке совхоза к весне, все подпишите их и передайте заместителю министра совхозов, который живет в той же гостинице, где и вы, на третьем этаже».

— Ясно! Может быть, закусите с нами?

— Нет, не хочу. Лучше поеду, — сказал посланец, — мне еще засветло надо до дому добраться...

Попрощался и ушел.

Из этой записки и из разговоров я понял, что в моей комнате собрались работники совхоза: старший агроном, заместитель директора, бухгалтер и начальник участка. Кончили они закусывать, прибрали на столе, и тогда старший агроном напомнил о деле:

— Давайте, хлопцы, составлять сведения, а то завтра

в десять совет овощеводов, и заместитель министра, видимо, готовится к выступлению.

Бухгалтер открыл портфель, достал бумагу, линейку и быстро начертил форму.

— Какой там первый пункт? — спросил агроном.

— Количество готовых парниковых рам!

— Так... Значит, количество рам...— И все подняли глаза на потолок, по которому над нами кто-то громко топал (возможно, тот же заместитель министра!).

— Пишите семьдесят пять рам!

Бухгалтер, как человек, привыкший к точности, к цифровой правде, как-то замялся и отложил карандаш.

— Что же вы не пишете?

— Так как же писать, если их нет?

— Ну, так будут! — сказал заместитель директора. — Разве я не при вас звонил сегодня на базу, и оттуда сказали, что можно приезжать за досками!

Цифра «75» была аккуратно вписана.

— Что там дальше?

— Готовых овощных семян в килограммах...

— Ставьте девяносто килограммов.

— Вот и опять же... — развел руками бухгалтер.

— Что «опять»! — перебил агроном. — Я же сам, лично, заходил в областную лабораторию и сам, лично, договорился, что через пять дней они примут семена на анализ...

В другой графе появилась цифра «90». Пункт за пунктом, графа за графой — и кропотливая работа была закончена. Первым ее подписал мой сосед, вторым — замдиректора, а бухгалтер, которого уже хорошенько разобрал первачок, покрутил головой и сказал:

— Раз такую липу старший агроном подмахнул, то и я расписываюсь...

Потом один из них достал новенькую голубую папку, вытер ее рукавом, чтобы блестела, и положил туда «сведения». Заместитель директора стоял перед зеркалом,

одергивал гимнастерку, приглаживал волосы: готовился сделать визит самому заместителю министра.

— Может быть, ты отнесешь, а то я что-то уж очень красный,— обратился он к начальнику участка.

— Я не дойду...

— Вы еще раз умойтесь, умойтесь еще раз,— советовал бухгалтер,— да не сопитесь так громко, когда зайдете...

После второго умывания заместитель директора кашлянул и пошел.

Минут через десять он вернулся.

— Ну что-о? — все трое вытянули шеи.

— Все в порядке! — подморгнул тот.— Похвалил! Просмотрел раз сводки, потом вторично. «Молодцы! — говорит.— Продолжайте в том же духе!»

...Мой сосед, полностью освободившись от дел, теперь решил и мне уделить внимание:

— А вы по какому делу и в какую организацию приехали?

Мне очень не хотелось расстраивать их, не хотелось говорить, что я из «Перца». У людей было чудесное настроение, только что их хвалили и вдруг — на тебе...

— Да я,— говорю,— так же, как и вы, одну огородную культуру выращиваю уже лет десять.

— Какую же, интересно?

— Да перец,— говорю,— выращиваю...

Не знаю, то ли я, может быть, немножко усмехнулся, то ли еще что, только мой сосед быстро переглянулся с коллегами, а потом наклонился ко мне:

— А может быть, из журнала «Перец»?

Мне больше ничего не оставалось, как сказать правду, хитрить не имело смысла!

Показал им редакционное удостоверение и, чтобы как-то смягчить овладевшую ими неловкость, пояснил, что я приехал не за материалами по подготовке к весне, а приехал к шахтерам, хочу, мол, о них стихи написать...

Да они, видимо, не поверили.

— Ну, хлопцы, теперь мы наверняка будем в «Перце»! Точно будем! — сказал своим друзьям старший агроном.

И тогда я решил, что писать об этом случае я не буду, хоть материал сам просился в фельетон. Может быть, кто-нибудь и осудит меня за это решение. Но пусть он войдет в мое положение: жить с человеком в одной комнате, говорить с ним и — что? — тут же писать про него? А кроме того, случилось же все это так внезапно!

...Поздно вечером, когда мы с моим соседом наговорились о прошедшей войне и о жизни работников их совхоза и уже погасили свет, он, немного помолчав, спросил меня:

— Еще не спите, Степан Иванович?

— Нет, нет...

— В том, что материал появится в «Перце», я уверен, но скажите, если не секрет, как он там будет: в стихах или в прозе?

И он, и его коллеги, как я видел, очень переживали, можно сказать, сгорали со стыда.

Через два дня мы с моим соседом приветливо распрощались. Он поехал готовиться к весне, а я продолжал свои поездки по шахтам.

А уже в начале апреля старший агроном прислал мне в редакцию письмо. Были в этом письме и такие слова: «После того как мы перед вами два дня краснели, все в совхозе пошло по-другому. Поглядывали мы в ваш журнал — и ремонтировали инвентарь, спешно делали рамы. А что из этого получилось — почитайте, пожалуйста, эту вырезку из газеты «Социалистический Донбасс».

В газете не только на словах хвалили совхоз за хорошую подготовку к весне, но, кроме того, поместили две больших фотографии. На одной из них выставленный рядами в полном порядке инвентарь, а на другой — новые парниковые рамы.

Вот как оно иногда бывает, если ты даже и не напишешь сатиру!

ДЯДЬКА С ХАРАКТЕРОМ...



Когда я, бывало, рассказывал своим товарищам эту коротенькую историю, они, посмеиваясь, разводили руками:

— Ну и дядька! Такого действительно не выдумаешь...

Собственно, в этой истории нет ни каких-либо острых сюжетных поворотов, ни внезапных неожиданностей.

Все было очень просто. В 1932 году я работал рулевым матросом на пароходе «Ленин». Как-то после очередного рейса мы вернулись в Одессу. Когда мы причалили, пришвартовались, когда сошли на берег все пассажиры и в порту все успокоилось, служащие пристани обратили наше внимание на одного дядьку:

— Видите, вон он сидит на скамейке! Уже трое суток сидит. Ему, кажется, нужно в Евпаторию.

— Почему же он не едет?

— А кто его знает! Говорит, что будто бы ждет какого-то напарника, который должен приехать сюда из села, да, видно, брешет...

Два дня тому назад ушла в рейс «Грузия», позавчера ушел «Крым», сегодня утром — «Аджаристан». А дядька даже к кассе не подходил. Спокойненько разгуливает себе в порту. Развяжет мешок, достанет хлеба, сала, как следует заправится, выпьет в ларьке стакана три сельтерской... И вот так уже три дня. Всякий раз, когда возвра-

щается в порт какой-нибудь пароход, дядька непременно улучит момент, чтобы подойти к кочегару или матросу и спросить:

— Ну, как море? Тихое или бушует?

— Тихое, дядя, полный штиль!..

— Выходит, дело дрянь,— буркнет про себя и уйдет.

Наш пароход должен был выйти в рейс на следующий день, под вечер. За день погода резко ухудшилась. Подул «молдаван» (так моряки прозвали южный ветер). Море волновалось все сильнее и сильнее. На сипем горизонте уже появились высокие белые барашки...

Заметив, что похоже на шторм, наш дядька повеселел. Помню, подошел ко мне, бодро поздоровался, подморгнул в сторону маяка и сказал:

— Балла четыре уже есть, ага?!

— Да нет, пожалуй, целых пять будет,— ответил я.

И вот как раз теперь он поспешил к кассе и взял билет до Евпатории.

...От Одессы до Евпатории нам ходу было тринадцать часов. Всю ночь так штормило, что многие пассажиры не спали. Некоторых из них укачало, и они тихо стонали, другие, чтобы заглушить свои неприятные ощущения, пытались петь и за ночь совсем охрипли. А один (ну и посмеялись мы над ним!) топтался всю ночь в коридорчике между кают... в сорочке, при галстукe и в трусах: жаловался, что никак не может надеть брюки.

— Подниму, знаете, ногу, а оно как кинет, как махнет, никак в штанину не попаду...

Зато дядька, о котором идет речь, чувствовал себя чудесно: развалился на лавке на палубе и крепко спал.

В Евпатории пароходы становятся на рейд далеко от берега, а за пассажирами приходит местный катер. Но в этот раз катер не мог прийти из-за разгулявшейся стихии. Еще на подступах к этой первой остановке было сообщено, что в связи со штормом пароход «Ленин» в Евпатории

остаиваться не будет, а высадит евпаторийских пассажиров в Севастополе.

Через четыре часа все те, кому не повезло, сходили по трапу на севастопольскую землю... Все, кроме того самого дяди!

— А что вы не сходите?

— А куда я тут пойду, я же купил билет до Евпатории, вот и везите...

— Так мы же идем в Батуми, а в Евпаторию вернемся только через семь дней!..

Никакие уговоры и разъяснения не помогали! Заставить же этого дядьку сойти на берег наша администрация не имела права, так как существует такое правило, такой закон, что «пароход, взяв на борт пассажира, обязательно должен доставить его в порт назначения, независимо от погоды и независимо от того, сколько бы его ни пришлось возить».

Одним словом, ехал дядька с нами дальше. Погода улучшилась, и плыть на пароходе было очень приятно. Дядька любовался крымскими, а потом кавказскими видами. Ревизоры, проверявшие билеты в портах, были бесильны к нему придаться: все законно!

Иногда, бывало, остановит дядька матроса и выразит свое восхищение:

— Смотрю вот и думаю, какая красота! А море какое гладенькое. Вот если бы столько ровной земли!

Наша команда начала разгадывать его хитрость: в то время на юге Украины было трудно с хлебом, и мы догадались, что дядька едет на Кавказ за мукой. Так оно и вышло. В Батуми он купил полтора мешка муки, затем заплатил за багаж. И мы повезли его бесплатно обратно в Евпаторию.

А в Евпатории, через семь дней, он сказал, лукаво улыбаясь:

— Мне уже сюда не нужно. Я ехал к сыну, а теперь его уже, наверное, перевели куда-нибудь...

Он купил дешевый билетик от Евпатории и поехал обратно. Сходя на пристани в Одессе, где он четыре дня специально ждал шторма, дядька хитровато усмехнулся нам:

— Бывайте здоровы, хлопцы! Хоть и не повезло мне у вас из-за шторма, да зато свет повидал...

Наш старый капитан, перевидавший на своем веку бесчисленное множество разных пассажиров, говорил потом, что человека с таким характером встретил впервые. Всех перехитрил!

ЖЕРЕБЧИК

Ну, как вам наши хлеба? — не без гордости спросил меня ездоной и показал рукой на обе стороны степной дороги.

— Роскошно! — так же не без гордости ответил я.

Может быть, впервые в жизни я в тот момент повел себя нетактично — оборвал интересный разговор, приподнялся на возу и стал наблюдать за проказами буланого жеребчика.

Правда, следом за мной приподнялся на возу и ездоной дядька Микола; приложил ладонь козырьком к бровям и все повторял, посмеиваясь в сивые усы:

— Ишь, что выделявает!

Еще несколько минут тому назад этот буланный красавчик бежал по наезженной дороге и тесно прижимался к своей работающей матери. Проходил, так сказать, «стажировку», чтобы, возмужав, никогда — ни при какой погоде — не сбиваться с дороги... Вихрилась на нем гривка, между ушами развевался чубчик, который так напомнил мне, городскому жителю, стрижку «модерн».

— Растет! — сказал дядька Микола.

И в тот самый момент, когда ездоной хотел начать хозяйственный разговор про степь, наш буланный любимчик начал вытворять такое, как будто слепень его укусил.

А причина тут была очень проста. С дороги, чуть ли не из-под копыт, взлетела и порхнула над нами какая-то залетная рябкрылая пташка. Гнедая труженица, жереб-

чикова мать, даже и ухом не повела: разве мало всяких птиц и пело и крикало на ее дороге! А жеребчик — то ли от страха, то ли от восхищения такой новизной — наострил, словно заяц, уши, задрал голову, выгнул хвост трубой и рванулся как ветер!

Вышло как-то так (случайно, конечно), метнулся этот несмышленный конек в том же направлении, что и птичка. Он словно догонял ее, словно копировал: она делала разные виражи и выкрутасы над землей, а жеребчик — на земле.

Сперва трещала и падала под его ногами кукуруза, потом звенело зернами золотое просо. Минуты через две он уже так расшалился на баштане, что из-под его копыт разлетались в разные стороны арбузы и дыни, которые, к слову сказать, с самой весны обрабатывала его мать, терпеливо волоча за собой распашник.

Нервничал не только ездовой дядька Микола, несколько раз пытавшийся вернуть жеребчика. Тревожилась, не спуская с него глаз, труженица-мать... Вот, смотрю, она высоко подняла голову и протяжно заржала. В «переводе» это, очевидно, означало: «Не дури, а то, ей-ей, ноги поломаешь!»

Но и это не помогло. Наоборот: услышав «критику» от своей матери, жеребчик махнул через дорогу на другую половину поля, поскакал по буракам и только теперь, крутнув головой, что-то заржал в ответ. На его языке это, наверно, означало: «Не хочу идти по прямой, как вы, как все! Хочу зигзагами, с выкрутасами!»

Жеребчик топтал чудесную пахучую ниву, а у меня, признаться, возникла ассоциация, от которой я грустно усмехнулся: я подумал, что у нас на литературной ниве, вполне возможно, нашелся бы критик, который, чего доброго, назвал бы все это новаторством.

Должно быть, потемнело в глазах и закружилась голова у жеребчика от этих выкрутасов: не заметил он, бедняга, как подбежала к нему сбоку покрасневшая от

гнева звеньевая Марийка. И так она стеганула буланого стригунка увесистым кнутовищем, что он, взбрыкнув, в тот же миг развернулся и полетел во весь дух к нашему возу. Очень было жалко жеребчика, когда он, не заметив канавки на свекольном поле, споткнулся и упал.

Выбравшись из канавы, он прибежал к нам — и снова притулился к матери.

Дядька Микола остановил коней, бережно погладил слегка припухшую ногу жеребчика и сказал не без морали:

— Ну что, добрыкался? Подожди, вот впряжешься в работу, тогда выкинешь из головы эти причуды!

А потом, когда мы уже поехали дальше, дядька Микола все подытожил так:

— Ничего, выровняется! В молодости и с людьми такое бывает!

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ

Большая бригада писателей, после многодневной поездки по западным областям Украины, поздно вечером остановилась в гостинице одного прикарпатского города. Было тут чисто, уютно, дежурные ходили на цыпочках.

Крайне утомленные выступлениями и разъездами, писатели сразу легли спать. Выспаться! Это была их единственная мечта.

Мечта еще и потому, что где-то за окнами на всю техническую мощностъ кричало, пело, завывало саксофонами и било в бубны радио. Только в первом часу ночи оно вежливо сказало писателям: «Спасибо за внимание. Спокойной ночи!»

А в шесть часов утра соскочил я с кровати — и к окну. Слышу, горланит опять тот длинношей репродуктор на высоком столбе посреди площади, метров за двадцать от гостиницы. Да еще с математической точностью нацеленный на угол дома так, чтобы в равной мере обслуживать и правое и левое крыло. А из этого репродуктора на весь город выкрикивает свои стихи, записанные на пленку, наш коллега-поэт, единственный из нашей бригады человек, который сейчас крепко спит и не слышит своего блестящего выступления.

Выхожу в коридор. А там уже марширует известный поэт-академик, поблескивая лысиной.

— Чего вы, — спрашиваю, — так рано? Спали б еще...

— Да кто ж тут, к черту, вылежит, если за окнами такой невообразимый шум!

Гляжу — и другой поэт-академик, поправляя пенсне, в коридор вышел. Выжил и его репродуктор!

Возвратившись к себе, в противоположный конец коридора, подошел я к дежурной и деликатно говорю:

— Все хорошо у вас: чисто, в коридорах никакого шума, как кое-где бывает. Вот только радио очень громко гремит.— И намекаю, чтоб сказала, дескать, как-то об этом коммунальным работникам, связистам.

Дежурная усмехнулась, вышла из-за стола и шепнула мне на ухо:

— Да его ж, этого радио, совсем тут не было. А вот вчера, как узнало наше начальство, что писатели едут, немедленно прислало бригаду. Весь день монтеры на столбе сидели, все прилаживали и прицепляли репродуктор. Пусть, мол, писатели не подумают, что заехали на какой-то глухой хутор!..

Одним словом, перестарались!

КОНКРЕТНАЯ КРИТИКА



омню, обратился как-то ко мне редактор одного солидного республиканского органа с просьбой поехать с ним в Бровары под Киевом, на конференцию читателей его газеты.

— Думаю,— говорит,— еще пригласить известного поэта-лирика и видного прозаика. Вы у нас частенько печтаетесь — поедемте!

Имелось в виду, что после того, как скажут свое слово о газете читатели, в конце конференции выступят писатели с чтением своих произведений.

Было это где-то в начале 1947 года. Газета, о которой идет речь, выходила тогда каким-то необычным форматом: полосы были раза в полтора шире и длиннее, чем у теперешних газет. Бумага, на которой она печаталась, почему-то очень хрустела. Видно, была слишком лощенной.

Мы договорились с редактором и поехали.

Районное руководство все продумало заранее: подготовило ораторов ото всех, так сказать, прослойку: от партактива, от интеллигенции, от комсомола, от женщин...

Зал восстановленного после войны Дворца культуры был переполнен.

Мы невольно обратили внимание на седого, высокого и суховатого деда, сидевшего в четвертом ряду. Секретарь райкома сказал нам, что этот степенный человек — колхозник из села Гоголево, отец троих сыновей-трактористов. А редактору не без гордости заметил:

— Третий год на вашу уважаемую газету подписывается!

Встреченный аплодисментами, выступил редактор. Оратор он был хороший, и присутствующие со вниманием выслушали его рассказ о работе редакционного коллектива, о тех вопросах, какие поднимала и поднимает газета на своих страницах.

— А теперь, товарищи, давайте высказываться! — призвал секретарь.

И, хотя перед ним лежал готовенький список тех, кто будет выступать, он еще раз обратился к залу:

— Только давайте, товарищи, так, чтоб долго не раскачиваться.

Глянул в четвертый ряд на того самого деда из села Гоголево и почтительно спросил:

— Может, вы, Макар Андреевич, хотите высказаться? — Наверно, учел секретарь, что деду нужно еще в село возвращаться, и потому пригласил его выступить первым.

Дед Макар встал. Прошел не спеша на сцену. По всему было видно, что не очень-то ему хотелось выступать, но раз уж, дескать, сюда привезли, надо выступить. Положил руки на трибуну и пачал:

— Очень мне эта газета нравится: большая, как скатерть! Чтоб ее развернуть, обе руки вот так, в стороны, навтыжку разводишь. Другим, вижу, приносят такие маленькие газеты, что, по правде сказать, и глядеть не на что. А моя — огромная, красивая и даже хрустит, когда развертываешь... Я и на следующий год только ее выпишу... И приносят аккуратно: как полдень, так уж, глядишь, и почтальон через огород идет. А если, скажем, сегодня не принес, то завтра сразу две доставит. Очень мне газета нравится!

Очевидно, желая напелить деда на главное, секретарь подкинул «наводящую» фразу:

— Да небось, Макар Андреевич, и читаете с интересом?

— Так, так!..— воскликнул глуховатый дед.— Это правда. Иногда лежу вечером на печке, а внук и почитает кое-что: он у меня любитель этого дела... Так что не обижаюсь, славная газета. Да и баба хвалит...

— А может, замечали, Макар Андреевич, какие-нибудь недостатки, то тоже скажите, не стесняйтесь. Наш уважаемый редактор себе запишет и дело выправит.

— Бывают, конечно, и недостатки. Не без этого. Как и во всяком деле. Замечаю, что бывают, чего там скрывать. А в целом...

Тут секретарь снова решил подсобить оратору:

— А вы бы вот и сказали прямо: какие именно конкретные недостатки?

Помялся немного дед и сказал:

— Ну, раз уж речь зашла об этом, то замечаю тот недостаток, что сильно она вспыхивает! Затянешься раз — еще ничего, а в другой раз непременно вспыхнет, да так, что усы обожжет. То ли бумага такая, то ли еще что...

И зал содрогнулся от хохота. А за ним — президиум. Известный прозаик, с большим вниманием слушавший деда, нагнулся под стол и так смеялся, что было видно, как подпрыгивают его плечи.

Не удержался и редактор:

— Так говорите: вспыхивает?

— Как порох! — подтвердил дед.

А зал уже катался от хохота.

Идя с трибуны мимо президиума, дед Макар смущенно промолвил:

— Извините за критику. Мои сыновья да и внук, те еще за что-нибудь другое, может быть, критиковали, а я только вот за это, так как, признаться, неграмотный...

Редактор поднялся со стула и пожал деду руку.

Потом, когда уже все успокоились, редактор объяснил, что недоброкачественная бумага, о которой говорил Макар

Андреевич, была закуплена в Финляндии, так как наши фабрики еще не все после войны восстановлены.

Одним словом, попало Финляндии от деда Макара.

Дальше уже пошел серьезный разговор. Много было высказано дельных мыслей, предложений, пожеланий, чтобы газета стала еще боевитей, интересней, чтобы красиво версталась, иллюстрировалась...

— И чтоб не вспыхивала! — в шутку добавил кто-то из зала.

Прошло с тех пор много времени, но и теперь, когда бы мы ни встретились с прежним редактором, непременно вспомним выступление деда Макара.

Повеселил он нас!



Каждое утро она проходила мимо нашей хаты в школу, где училась в четвертом классе. Одевалась Оленка всегда хорошо и даже роскошно. Особенно к лицу ей было темно-зеленое платье, на котором еще красивее выделялась ее светлая коса. Я тогда тоже ходил в четвертый класс. И, признаться, складывалось у меня так, что в ту самую минуту, когда я выходил из ворот, как раз и Оленка шла!

Не случайно так складывалось. Бывало, мама, беспокоясь, чтобы я не опоздал, сердито кричит:

— Бери уже торбу и отправляйся в школу!

А я:

— Сейчас, мама! Только принесу вам воды и пойду... — Если ведро еще полное, вылью воду под шелковицу. Несу свежую из колодца с выгона и все поглядываю на дорогу, не идет ли Оленка.

А вот и она! Улыбается мне еще издали и, чтобы никто не заметил, тихонько машет рукой... Я быстро вешаю ведро на крюк, привязанный на акации... Хватаю торбу...

— Я уже пошел, мама!

Оленка очень любила слушать стихи. Зная это, я каждый вечер старался расширять свой репертуар: учил наизусть что-нибудь из Шевченко или из Некрасова... Идем с ней, и я до самой школы читаю поэму «Крестьянские дети».

Отец Оленки был зажиточным. Имел даже молотилку

с паровиком. А на усадьбе у них сверкал черепицей огромный амбар, над которым качались высокие тополя. Но Оленка и не думала о том, что я из бедной семьи, относилась ко мне по-детски чистосердечно. Лишь один раз, помню, огорчила она меня. Это было в тот день, когда хлестал сильный дождь и старший Оленкин брат повез ее в школу в фургоне, а я плелся один и опоздал на урок. Видимо, постеснялась Оленка попросить брата, чтобы и меня посадил в фургон.

По окончании школы виделись мы все реже. А потом, когда Оленка подросла, и совсем не виделись, так как меня отец отвез в Одессу учиться, а она осталась в своем небольшом селе, расположенном в двух километрах от нашего.

Каждый раз, когда бы я ни вспоминал родной край, в воображении моем возникала и она, моя белокурая землячка Оленка. Помню, как-то во время каникул встретил я ее около кооператива. Долго стояли. Потом прошли мимо нашей школы...

А потом миновали годы...

Как-то осенью 1929 года приехали в город на базар мои земляки. Рассказали, что в селе у нас началась коллективизация, что на усадьбе раскулаченного Оленкиного отца теперь хозяйственный двор артели и что будто бы Оленка вместе с младшим братом ночью куда-то убежала.

— Видимо, подалась в какой-нибудь город, а может быть, даже на шахту — работу искать! — высказал догадку один из земляков.

Я полностью сознавал и понимал необходимость и величие тех событий на селе, но, признаюсь, Оленку все-таки мне было жалко. Думал: разве она виновата в том, что отец пролез в богатеи? Она же еще маленькой так мечтала стать доктором или хотя бы медсестрой! Где она теперь? Куда ее закинула судьба?

Еще через год случилось совсем непредвиденное. Шел я улицей Толстого вместе со своим товарищем из инсти-

тута в общежитие. Шел в хорошем, веселом настроении, так как сдал на «отлично» зачет по нелегкой теме «классовое расслоение на селе».

Только дошли до улицы Островидова, смотрю — на встречу напрямик она! Идет с каким-то высоким парнем, который бережно ведет ее под руку. От неожиданности я ничего не мог сказать. Остановился, провожаю глазами, а Оленка, взглянув на меня, почему-то резко отвернулась и прибавила шаг.

Мой товарищ сказал:

— Она тебя просто не узнала.

Поворачиваем и идем следом. Очень уж мне хочется по-человечески поговорить с Оленкой, вспомнить наше детство, родной край.

Да как это сделать, если она так спешит, словно убегает от нас? И я, идя следом за нею, призываю на помощь поэзию — начинаю громко читать те самые строчки из Некрасова, которые читал когда-то ей по дороге в школу:

Играйте же, дети, растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно!

Она испуганно оглядывается и круто поворачивает на другую сторону улицы.

— Оленка! Подождите, Оленка, это же я, ваш земляк Степан...

Краснея от злости, она оборачивается на секунду и бросает почти с ненавистью:

— Вы ошиблись!..

И пошла, склонив голову к плечу своего высокого спутника, не оглянувшись больше ни разу.

И я все понял. Опустив руки, молча стоял я, не испытывая ни капли обиды на Оленку.

Найдя себе работу, приют у людей и хорошего това-

рища, она в ту пору, возможно, больше всего страшилась того, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не дознался, куда она убежала из села той осенней ночью.

...Если вам доведется, дорогой читатель, отдыхать летом в том санатории, чьи белые корпуса возвышаются на крутом черноморском берегу, вы обязательно обратите внимание на красивую, уже в летах, медсестру, которую все величают уважительно Олена Васильевна.

Это и есть она, моя землячка Оленка!

ВАСИЛЬ ПОЖАР



О н пас в нашем селе общественную отару. До захода солнца стоял за селом на выгоне с герлыгою¹ в руках. Молодой, чернобровый. На боку полотняная торба, а в ней кроме чабанских харчей непременно какая-нибудь книжка.

Круглый сирота, Василь забрел в наши степные края из какого-то села под Балтой. Столовался он, как договорились, по хатам: два дня у одного хозяина, два дня у другого. И в каждой хате поверял Василь людям свою заветную мечту:

— Вот почабаню до конца лета, заработаю себе на прожитие и подамся в Одессу, на рабфак...

Но в сердце его жила еще одна тайная мечта, о которой он никому не говорил ни словечка. Как раз в это самое время за селом на широкой леваде раскинул свой старый шатер бородатый цыган Хома. А у этого цыгана, кроме трех маленьких сыновей, была очень красивая дочка Марийка. В розовой кофточке, с длинной черной косой ходила она по леваде, собирала цветы, а иногда разносила хозяевам починенную отцом металлическую утварь.

Людям, работающим в поле, хорошо видна вся левада. И не раз замечали они, что ходил Василь за отарой не один, а с «подпаском» в розовой кофточке. Иногда, повечерявши, он говорил хозяевам, что пойдет в сельский

¹ Герлыга — пастушья палка.

клуб, а на самом деле шел к Марийке. Шел в поле или на леваду, ибо ни у нее, ни у Василя не было ни хаты, ни садика, где могли бы они посидеть, поговорить.

Однако недолго он ходил на эти свидания. Случилось неожиданное. Однажды остановился около Хомы другой цыган, — не кузнец, а барышник. Возможно, он и подговорил Хому ехать дальше, искать легкого заработка, так как наутро шатра на леваде уже не было и в яме, где вчера горел кузнечный горн, остался только теплый пепел.

Было все это в 1923 году. В ту пору степными дорогами часто шли такие вот, как Василь, будущие рабфаковцы. Шли с Винничины, с Подольщины. Денег на проезд не было, путешествовали к храмам науки пешком. Не раз ночевали они и в нашей хате.

Как-то в начале сентября, получив от общества свой заработок, подался с ними на Одессу и Василь Пожар. На моих земляков это произвело большое впечатление. Около кооператива, у мельницы, я не раз слышал, как говорили об этом наши дядьки:

— Такой бедняк и отправился учиться, а я своего чуть ли не каждый день луплю, — не хочет учиться, и баста!..

— А я своему Федьке вчера сказал, что будет хоть по десять лет в каждом классе сидеть, а все равно выучу! — отозвался другой.

...Той осенью и меня отец отвез в Одессу, в трудовую школу. Зная, на какой рабфак поступил Василь, пошел я однажды его разыскивать.

И тут случилась такая, немножко комическая, история. В комнате студенческого общежития, на Институтской улице, я Василя не застал. По длинному коридору сновали парни, девчата. В одной из комнат играла гармошка, оттуда несло пение. Был субботний вечер, молодежь веселилась.

— Будьте добры, не скажете ли, где Василь Пожар? — спросил я у зубатого парня.

— Может быть, в той комнате, где поют, пройдите туда!

Подошел я, открыл дверь комнаты и с порога спрашиваю:

— У вас Пожар?

— Что, что?

— Пожар не у вас, часом? — повторил я.

И, убедившись, что Василя тут не видно, ушел. А когда уже был внизу, услышал, что там, на третьем этаже, началась настоящая тревога.

— Где пожар? В чьей комнате горит?

— Звоните коменданту, скажите, что в общежитии где-то начался пожар! — кричал кто-то на весь коридор.

А через некоторое время оттуда уже долетел дружный хохот: догадались, что Василя Пожара искали.

Встретились мы с ним через несколько дней. Когда уже наговорились о всяких житейских делах, Василь наклонился ко мне и спросил:

— А цыган Хома не приезжал больше на леваду?

— Не приезжал...

Василь задумался, вздохнул. Потом горько усмехнулся и развел руками:

— И куда он Марийку свою завез, на какую долину?! Иди знай!..

Я был на несколько лет моложе Василя и поэтому стыдился говорить с ним более пространно на такую сугубо личную тему, хотя и прекрасно понимал его молодую опечаленную душу...

Что было потом?

Были трудности, нехватки, всякие другие невзгоды, но Василь Пожар продолжал образование. Закончив рабфак, поступил на исторический факультет, стал уже получать солидную стипендию.

Летом студенты его третьего курса проходили практику военно-допризывной подготовки. С полной выкладкой

день за днем учились они приемам ведения боя. Жили в палатках за городом. Как-то в выходной день поехал я туда к Василию в гости. И тут он рассказал мне о таком неожиданном и волнующем событии, что я и до сих пор не могу о нем вспоминать спокойно.

Прошлой субботой в летнем клубе их военного городка ждали начала большого концерта. Два первых ряда забронировали для командиров, которые вот-вот должны были прийти, последующие ряды уже заполнили красноармейцы. И вот все присутствующие, как по команде, встали: в первые ряды проходили старшие и младшие командиры со своими женами. И вдруг Василь глазам своим не поверил! Младший командир, командовавший соседним подразделением, провел во второй ряд одетую в голубое платье дочку цыгана Хомы, черноокую Марийку.

— Сначала я подумал, что мне пригрезилось, что, может, это сон и я вот-вот проснусь, — рассказывал Василь. — А когда она сядила и немножко повернулась боком, увидел, что это таки Марийка. Да, признаться, все еще не верилось! Если бы мог пройти вперед... Но это не положено... Придумать бы какую-нибудь причину, чтобы побраться туда, поближе...

И Василь нашел такую причину. Приблизительно за километр от клуба начинались дачи тогдашних богачей — эппманов. Василь не раз видел, какие чудесные цветы растут на этих усадьбах. Когда уже совсем стемнело и начался концерт, он, низко пригнувшись, пробрался к выходу и побежал к тем дачам. Крадучись, перелез через забор, нарвал букет цветов — и назад.

После скрипача выступала молодая певица, которой аплодировали больше всех. И в этот самый момент Василь побежал с букетом вперед, по-солдатски легко прыгнул на сцену и вручил растроганной певице чудесные цветы... Пожимал руку ей, а глаз не сводил с той, что сидела во втором ряду, и она, увидя Василя, обеими ладонями прикрыла свои черные, как терн, глаза.

— Молодец, Пожар! — сказал командир, когда солдат возвращался со сцены.

Василь заметил, как в ту минуту Марийка еще раз взглянула на него и снова закрыла лицо руками.

Что было потом?

Потом солдаты стояли, пока не вышли командиры и их жены, не сели все вместе на большую машину и не уехали. Уехала и Марийка с мужем в военный городок с кирпичными домами, расположенный около моря, а опечаленный своими думами Василь вернулся в свой солдатский шатер.

Через два дня он все выведал у своего молодого и неженатого взводного. Тот рассказал ему, что весной старшина Курило ездил в командировку в село Севериновку, находящееся в пятидесяти километрах от Одессы. Там, в долине, ремонтировал колесо брички у какого-то цыгана. Два дня ремонтировал, а потом забрал и увез с собой красивую жену Марийку!

Рассказывая все это, Василь Пожар сообщил и другую новость: в пятницу он еще раз видел Марийку!

— В тот вечер, — говорит, — я как раз дежурил. Вдруг вызывают, вручили мне какой-то пакет и приказали отнести в военный городок батальонному комиссару. Отнес, вручил и, заглядывая в окна домов, иду не спеша обратно. И в одном из окон увидел ее. Наклонилась над столом и крутит ручку патефона. В комнате больше никого не было видно, и я вполголоса выпалил: «Марийка!» Она не отозвалась. Не услышала, заглушила патефонная пластинка, на которой звучал голос Ляли Черной. Минуты три постоял на тротуаре и пошел, зная, что стоять столбом здесь нельзя. А вслед мне с каким-то болезненным надрывом во весь голос выводила Ляля Черная:

Ах, да я не помню,
Ах, да я не знаю, ромалэ!..

Василь говорил и, чуть отвернувшись в сторону, смотрел влажными глазами в бескрайнюю даль. Солнце уже зашло, на землю упал вечер. Его закатную тишину нарушил солдат-горнист, скликавший бойцов на вечернюю линейку.

Попрощались. Василь поспешил в сторону выстроившихся рядами белых палаток. Я пошел к трамваю...

Вышло так, что после этого увидались мы с ним лишь через год в библиотеке. Спеша на лекции, Василь успел мне только сказать, что старшину Курило перевели куда-то на Волгу, уехала с ним и Марийка.


— Не судьба! — развел он руками и поспешил за своими друзьями. Так и не довелось ему встретиться с красавицей, ходившей с ним когда-то по леваде, с той, что впервые пробудила в нем чистые, на всю жизнь незабываемые чувства.

Закончив институт, Василь поехал на работу в бывшую Николаевскую округу. Писал, что работается ему хорошо. Но ни в одном письме ни тогда, ни позже не писал ни слова о своем семейном положении.

Война оборвала нашу связь. И я, к сожалению, ничего не могу вам сказать о его дальнейшей судьбе. С того времени и до сего дня сберегаю Василя в памяти таким, каким видел в последний раз. Когда я приезжаю в родное село и выхожу на зеленую леваду, то снова и снова думаю о его нелегком пути от чабанской герлыги до науки!

Где ты теперь, Василь? Отзовись!

СОШЛИ МОРЯКИ НА БЕРЕГ

 ыход на берег для моряка почти всегда бывает праздником. А тем более в такой необычный вечер, про который пойдет разговор. Батумская набережная сияла гирляндами иллюминации, красками цветов, была наполнена людским гомоном. Было Первое мая тысяча девятьсот тридцать первого года.

Шестеро нас вышло тогда на приморский бульвар. Все из палубной команды парохода «Ленин», пришвартованного несколько часов тому назад в порту этого сказочного города.

Гуляли. Любовались чудесным Батуми, его скверами, платанами, кипарисами, красивыми аджарками...

— А не пойти ли нам, хлопцы, в какой-нибудь клуб: послушаем концерт, на танцы посмотрим! — внес предложение густобровый Виталий Лысенко, столяр с нашего парохода.

Все согласились. Только где находится такой клуб и как к нему пройти? Спросили у одного прохожего. Он долго нам объяснял (одно слово по-русски, другое по-аджарски), жестикулировал:

— Пойдешь левая сторона, потом правая пойдешь, услышишь песня и заходи прямо!

Идем. Прислушиваемся... И услышали, как из раскрытых окон одного дома льется могучая хоровая песня. Поднялись по ступенькам на второй этаж, на большую веранду. Открыли дверь и вместо контролера с повязкой на

руке увидели миловидную черноглазую женщину, которая пронесла через коридор большущее блюдо с пашлыком. Она улыбнулась и быстро свернула в дверь налево. Не успели мы переглянуться, как перед нами появился в праздничном национальном одеянии красивый аджарец лет сорока. Было заметно, что он уже порядочно «хлебнул».

— Ну что, дорогие? — спросил он, раскинув руки, как будто для объятий.

Поняв, что забрели на чью-то вечеринку, мы извинились и объяснили, что искали клуб и, услышав пение, ошибочно попали сюда...

— Это очень замечательно! — выпалил веселый хозяин. Порывисто открыв дверь в гостиную, поднял руку и обратился к своим гостям: — Внимание, друзья! Нас пришли приветствовать украинские моряки!..

В ответ на это неожиданное сообщение в просторной комнате раздались аплодисменты.

Деваться было некуда. Ошеломленные таким гостеприимством, садились мы за столы, где нам уже освободили место. Старший среди нас, шкипер Василь Шаповаленко, зная, что я увлекаюсь литературой, толкнул меня в бок:

— Давай!..

Поздравив аджарцев с праздником весны и дружбы и объяснив, что оратор из меня неважнецкий, ударился я в поэзию: прочел на память первомайское стихотворение Владимира Сосюры.

Потом аджарцы приветствовали нас. Потом — снова мы их... Трое из присутствующих оказались самодеятельными музыкантами. Они достали инструменты, ударили по струнам, а молоденькая высокая дочка хозяина по имени Анжела поплыла в танце, по-лебединому расправив руки. Плыла так, что казалось, она и пола не касается.

По обычаю полагалось ей «ответить». И никто из нас не мог сделать это лучше, чем наш матрос Микола Нестеренко. Лихо, точно с каким-то особенным вдохновением

он исполнил знаменитое «Яблочко». Не успел Микола раскланяться и сесть, как по поручению отца и гостей Анжела поднесла ему величальный рог, до краев наполненный искристым вином.

Нелегко было бедному Миколу, но он и с этой задачей успешно справился!

Как среди самых близких людей чувствовали мы себя в доме, куда, может быть, вот так, по ошибке можно попасть один раз в жизни. Но... надо, как говорится, и меру знать!

И тут нас выручил протяжный гудок какого-то неведомого нам парохода, дважды прогудевшего над вечерним Батуми. Услышав его раскатистый бас, Василь Шаповаленко вскочил:

— Это нам гудок, дорогие друзья!..

Поблагодарили, распрощались и вышли. А Микола Нестеренко, видим, идти не может. Так раскис от Анжелиной премии, что, цепляясь за нас, еле-еле ногами перебирает. Уж ковылял бы хоть молча! Ведем, а он нет-нет да и снова на всю улицу выкрикивает:

— Я хочу, чтобы каждый день было Первое мая!

...Вспоминая тот незабываемый вечер, праздничный город и его сердечных людей, хочется снова повторить те слова, которые говорили мы на прощанье: «Спасибо, друзья аджарцы!»

ЭКСКУРСИЯ НА КИНОФАБРИКУ



лучше бы меня не водили на эту экскурсию. До сих пор сожалею, что пошел... Вместе со всем классом входили, помню, в ворота кинофабрики, словно в какой-то храм. Это ведь отсюда каждый день поездами и самолетами спешат мастера кино, чтобы заснять все, что делается на свете, и нам показать. Вот и недавно я смотрел фильм и так переживал за людей, которые попали в беду, что даже прослезился...

Около часа ждали начала экскурсии. Наконец вышел какой-то дядя и сказал:

— Вот-вот должна начаться съемка самых волнующих кадров нашего нового фильма. Думаю, это произведет на вас потрясающее впечатление. А поэтому, — говорит, — подождите еще немножко...

Слоняясь по двору, заметили мы, что в одном из уголков парка плотники соорудили какой-то забор из фанеры. Вставили туда «окна», покрасили их бронзой...

— Что это будет? — спрашиваем.

Один из мастеров усмехнулся:

— Княжеский дворец кончаем, осталось еще переднюю часть кровли натянуть. Вот из этих дверей выйдет княгиня для съемок. — И, погладив рукой косяк, мастер крикнул одному рабочему:

— Федя! Возьми молоток и позабывай вот тут гвозди, а то княгиня бока обдерет!..

В это время позвала нас учительница, и мы поспеши-

ли за ней на зеленую площадку смотреть съемку «самых волнующих кадров».

По бокам и спереди уже стояли киноаппараты. Командовал всем чубатый суетливый режиссер.

— Вы готовы? — властно спросил он артиста, который держал в руках длиннущее копьё.

— Готов!

Режиссер поднял руку и крикнул в ту сторону, где был наспех сляпан камышовый навес:

— Пускайте коня! Да крепче засупоньте чучело в седле!

— Есть засупонить! — долетело из-под навеса.

Когда набитое соломой и одетое в шинель чучело примостили, два здоровенных парня со всей силой стегнули батогами коня и погнались следом за ним, повертывая его туда, где стрекотали аппараты, где, наклонив пику, уже прицеливался «бандит», чтобы проколоть чучело...

— Отставить! — крикнул режиссер. — Разве вы не видите, что всадник скособочился?! Воткните ему палку в туловище, чтобы ровно держался!..

Минут через десять снова свистнули батоги. Подлетел испуганный конь, и «бандит» саданул копьём в чучело так, что оно свалилось на траву. Кто-то отшвырнул его ногой дальше, а на место чучела упал в такой же точно шинели живой герой.

— Больше корчитесь! Вы же проколоты копьём!

Артист корчился, кривился, сучил ногами.

— Еще больше! Еще! Так, чтобы зритель зарыдал в зале!..

Солидные дяди делали все это очень серьезно, а нам, ребятам, было смешно.

Потом раненый герой должен был ползти на высокую гору. Но где же гора? И тут мы увидели, как в кино не Магомет идет к горе, а гора идет к Магомету. К высокой акации приставили лестницу. Влез туда оператор, прицелился вниз и...

— Теперь карабкайтесь, ползите на четвереньках! — завопил режиссер.

Артист, цепляясь за ровную землю, полз...

— Тяжелее дышите! И оглядывайтесь, не догоняют ли вас!

...Еще раз повторяю: лучше бы я не ходил на эту экскурсию! До сих пор я смотрел кинофильмы с полным доверием, принимая все за чистую монету, непосредственно. А теперь? А теперь, думал я, обязательно пойду на этот фильм и, если зрители будут вздыхать, а может быть, плакать, я буду смеяться...

После съемки водили нас по цехам, показывали много разной бутафории, всякие фанерные и картонные макеты.

И скажу вам правду: вышел я из ворот кинофабрики вконец разочарованным. С того времени я стал любить больше документальные фильмы.


На другой день писали мы в классе письменную работу «Мои впечатления от экскурсии». Все сидели на удивление тихие, сосредоточенные. И вдруг Володька Лемиш выкрикнул:

— Тяжелее дышите! Дышите тяжелее!..

И класс захохотал.

Одним словом, не советую вам ходить на съемки! Ходите лучше в кино!

ИНДЮКИ

 хали мы на днепровские озера. С удочками, спиннингами. И как раз проезжали полями известного птицеводческого совхоза, где выводят здоровенных черных индюков. Мой товарищ, корреспондент одной газеты, недавно побывал в этом хозяйстве. Вот он и рассказывал с увлечением о том, как вырастили тут двадцать тысяч этих длинношеих красавцев и что размещены они в летних загонах. По три тысячи в каждом...

Мимо одного такого загона, находящегося в полукилометре от дороги, мы и проезжали. Было утро, индюков еще не выпускали на полевое раздолье. И когда мой товарищ увидел, что там поблизости стоит зеленая «Волга», он почему-то повеселел и торопливо заговорил:

— Вон машина зоотехника! Давайте подъедем! Он такое вам покажет — просто чудо!

Кто, скажите, спеша на рыбалку, будет еще куда-то заезжать! Но он так настаивал, что мы свернули с дороги и подъехали к индюшину царству.

Познакомились с симпатичным, еще молодым зоотехником. А мой товарищ решил интриговать до конца! Взял под руку зоотехника, отошел с ним в сторону и, слышу, шепчет:

— Покажите и им то, что мне показывали, — и даже приник к самому его уху.

— А-а! Вот вы о чем! Это можно... — усмехнулся хо-

заян. И говорит: — Тут на ферме у нас работает очень славная дивчина Оля. А недавно приезжал в отпуск наш земляк, сержант Костя. Он частенько забегал сюда к Оле, помогал ей и, затевая всякие солдатские шутки, приучил наших индюков...

— Не рассказывайте! Лучше покажите! — перебил его мой попутчик.

И вот пошли мы за зоотехником к воротам загона... Видим, лезет он, держась за столб, на ворота. Три тысячи длинношеих великанов повернулись в его сторону, вылупили глаза и настороженно молчат. Чем выше лезет зоотехник, тем выше вытягивают они шеи... Выпрямился он на этой «трибуне», а затем, порывисто взмахнув вверх шляпой, выкрикнул (чтобы все слышали!):

— Здравствуйте, знаменитые индюки!

И три тысячи надутых красноголовых индюков дружно, как один, гаркнули в ответ:

— Гел, гел-гел!

Даже эхо прокатилось над степью!..

Увидев и услышав такое, я совсем не сожалел, что мы немножко запоздали с рыбалкой. Даже самые дошлые кинорежиссеры такого не придумают!

РАЗГОВОР С МАЛЕНЬКИМ ЮРОЙ



Кавказ. Побережье. На высоком пригорке возвышается белое здание санатория. Внизу море, золотой пляж. День за днем и месяц за месяцем лежат на нем дяди, тети...

Халаты. Пижамы. Вечерами танцы. Кино. Всем дядям и тетям любезно подносят разные кушанья. Даже мороженое дают.

На все это смотрит Юра. Смотрит и растет. Газет он еще не читает, поэтому и не ведает малыш, что среди отдыхающих — шахтеры, полярники, деятели науки. Обо всем этом он узнает, когда повзрослеет.

Ни дяди, ни тети, которые называются «отдыхающими», пешком не ходят: и вниз и вверх возит их Юрипа мама. Возит на красивом лифте. Иногда и сыночка Юру катает. А иногда и прикрикнет на него:

— Уходи отсюда, я тебе сказала! Лифт для отдыхающих, а не для тебя!

И тогда дяди едут, а Юра внизу остается. И просит отца, который боцманом на причале работает:

— А на лодочке меня покатаешь?

— Замолчи! Ты же видишь, сколько отдыхающих!

Юра, конечно, видит... И растет, и что-то про себя думает маленький Юра... Не раз он примечал, как сам директор старался всячески угодить таким дядям, ведь они же отдыхающие!..

Отдыхал и я в этом санатории. Спускала как-то и меня

на лифте Юрина мама, а белоголовый малыш в синем картузике стоял около нее в уголке.

— Сколько же тебе лет? — задал я Юре обычный вопрос, с которого частенько мы, взрослые, начинаем разговор с детьми.

— Пять!..

На вопрос, очень ли ему хочется скорее пойти в школу, Юра не ответил. Промолчал.

— А кем же ты хочешь быть, когда вырастешь? — поглаживая его плечи, спросил я.

— Хочу быть отдыхающим! — по-детски честно ответил Юра. Видно, очень нравилась ему такая профессия!

Выпорхнув из лифта, Юра побежал туда, где садились в лодки любители-рыболовы. А кругом пестрели красками зонтики, халаты, шляпки. Солидные дяди и тети играли на песке в мяч, и билось о берег голубое, как небо, море...

ДВЕ КАРТИНКИ С НАТУРЫ

І. ПОРОСЯТА



оскресное утро.

Как и сотни других киевлян, я спешу на рыбалку. Спешу на Киевское море, потому что кто-то кому-то когда-то говорил, что на море в районе Сухолучья метровые щуки сами в иступлении на блесну бросаются.

Как многим известно, дорога в те места идет через местечко Дымер.

И вот я уже в Дымере.

А там как раз базар. Большой, оживленный. Справа, где больше народу, на длинных столах — все, что только твоей душе угодно! Слева, вдали, в холодке, около высокого забора рядами стоят возы. На них — кабаны, свиньи, подсвинки, средние и совсем маленькие поросята. На передках возов сидят, свесив ноги, и покуривают дядьки, молча выглядывая своих покупателей.

Покупать я ничего не собирался, а просто захотелось пройтись между возами и посмотреть, как бывало, когда еще подростком ходил с отцом на такие торги.

Подошел я к уже седоватому хозяину и поздоровался. Вижу у него на возу трех поросят. Два поросеночка — красота! — чистенькие, беленькие, налитые, такие шустрые, что и в руках не удержишь. А третий, видно, немного постарше, почему-то не беленький, а рыжий, щетина длинная, дыбом стоит, худющий и голенастый, как борзая. Хоть на зайцев его выпускай.

— А за этого сколько? — спросил я у хозяина, показав на рыжего.

Он как-то недоверчиво смерил меня взглядом, ткнул кнутовищем и переспросил:

— За этого?

Подумал, будто вопрос застал его врасплох, а потом лихо и не без усмешки выпалил:

— Прошу пятнадцать, но отдам и за десять... А там сколько дадите!..

— Чем же, — спрашиваю, — объяснить, что два поросенка у вас такие красавцы, а этот вот какой-то заморённый? Он что, больной?

Дядька объяснил все коротко и ясно:

— Эти двое, говоря по правде, мои домашние, а третий, которым вы заинтересовались, моя жена получила как премию на ферме. Сам председатель колхоза вручил вместе с похвальной грамотой!

— За то, что вот таких же вырастила?

Дядька покраснел и больше не сказал ни слова. Покраснел и я. На этом и разошлись. А люди, что смотрели вслед, вероятно, думали, что мы не сторговались.

II. ПАСТУХ



ока ехал я к Дымеру, а потом пока за поросенка торговался, время шло. Скоро уже и девять утра. На море! На Киевское море спешу! Вот уже с правой стороны поссе село показалось. А слева, на опушке молодого соснового лесочка, огромный загон. Но что это? Уже солнце вовсю печет, да и роса давно высохла, а в этом загоне еще с ночи, видно, стоят коровы. Машут хвостами, отбиваются от мух. Возможно, что сегодня они не только не паслись, но даже еще и не пили.

В чем дело? Хорошие хозяева к этому времени еще до рассвета уже выпасут скотину. А эта стоит и на солнце жарится.

Недалеко от загона прохаживается какой-то дед с палкой.

Наверное, ночной сторож.

Пришлось остановиться, чтобы узнать причину непонятного явления.

— Здравствуйте!

— Доброго здоровья! — снял картуз дедок.

— У вас, может быть, ящур, что коровы до сих пор не пасутся, а стоят в загоне? — спрашиваю.

Дед помолчал, потом посмотрел на солнце, зажмурил глаза и сказал:

— Так мы же теперь уже совхоз, а не колхоз, мы уже рабочие. И пастух теперь с девяти приходит. По часам пасем, а не по росе...— горьковато усмехнулся старик.

Под вечер, когда я возвращался с рыбалки, повидал я этого пастуха: молодой, здоровенный, в шортах и с транзистором на груди... Видно было, что на этой должности его больше интересовала программа радиостанции «Маяк», чем совхозное стадо.

ВСЯКОЕ БЫВАЕТ С ЮМОРИСТАМИ

1



верен, что у каждого сатирика и юмориста есть немало веселых историй, связанных с написанием и опубликованием того или иного произведения. Есть они и у меня.

Вот одна из них. Лет двадцать пять тому назад в редакцию журнала «Перец», да и мне лично приходило много жалоб на плохую работу сельских кинопередвижек. На эту тему я написал юмореску «В клубе». Разговор шел о халтурной работе передвижки; рвалась лента, иногда даже разрывая пополам действующих лиц. Все это надоело зрителям и киноаппаратчикам. И на одном из таких неудачных сеансов между рядами зрителей прошел вперед киномеханик.

— Звиняйте,— говорить,— що я вас нужу.
Набридло. Та й пізня година.
Давайте вже краще я вам розкажу,
До чого веде ця картина.

И начал рассказывать, что героиня «в четвертой части влюбилась, а в шестой они поженились».

Были в юмореске еще и другие веселые ситуации, высмеивающие бракоделов-халтурщиков.

Когда я писал этот фельетон в стихах, то в одной строчке к слову «громадяны» мне нужна была рифма, и я вышел из этого положения довольно просто, сказав, что как будто все это происходило в селе «Роксоляны». Воз-

можно, я когда-то слышал это название, и поэтому оно и пришло, как говорится, сразу в голову.

И вот что было дальше.

Я опубликовал юмореску в журнале «Перец». А примерно недели через три в редакцию приходит официальное письмо из одесского облтреста кинофикации. Строки этого письма я цитирую:

«...после напечатания в Вашем журнале критического выступления Степана Олейника «В клубе» областной трест кинофикации послал в село Роксоляны, Овидиопольского района, комиссию. Проверкой на месте установлено, что указанные в материале факты полностью подтвердились».

Далее в этом ответе говорится о том, что трест кинофикации решил установить в селе Роксоляны стационарную киноустановку и уже приступил к работе...

Вот какое доброе дело сделала случайно найденная мной рифма!

2

А вот еще случай.

Двадцать лет тому назад я написал сатирические стихи «Дорогая дама», которые и сейчас читаются многими участниками художественной самодеятельности.

А история появления этого стихотворения такова: группа шоферов автогаража одного министерства написала мне письмо, в котором просила высмеять дорогих для государства дам, систематически разъезжающих на служебных легковых машинах своих мужей: на рынок, на примерку шляпы, к подружкам в гости... Я такие стихи написал. Напечатали их в газете «Советская Украина».

И посыпались письма, расхваливающие острую сатиру. Были среди них и злые письма от «дорогих» дам! Суть их гневных «ответов» сводилась к тому, что автор, мол, может себе писать, а «мы ездили и будем ездить».

Вскоре областной корреспондент той же «Советской

Украины» прислал мне выписку из стенограммы. Выступая на областной партийной конференции, руководитель одного горисполкома с трибуны сказал:

«Заканчивая, товарищи, свое выступление, я хочу в порядке самокритики здесь признать, что меня совершенно правильно критиковала «Советская Украина» в стихотворении «Дорогая дама» за то, что моя жена часто использовала исполкомовскую машину для личных нужд. Меня на городской конференции также критиковали за это, и должен признать, что — правильно...»

Я, автор, ни сном ни духом ничего об этом не знал. Никогда не видел ни этого оратора, ни его «дорогой дамы». Может быть, те, кто его критиковали, говорили прямо: про тебя, мол, написано!

А потом попили жалобы участников художественной самодеятельности. Таких писем было несколько. Оказывается, некоторые руководители, сидя со своими женами в первом ряду на вечере-концерте, не могли примириться с тем, что их подчиненные читали со сцены «Дорогую даму». Приняв эту сатиру в свой адрес, некоторые руководители начали было выживать с работы ни в чем не повинных чтецов сатиры. Пришлось повоевать за восстановление справедливости.

Я люблю юмор и сатиру за то, что эти жанры — народные, боевые, действенные. Своих однополчан-сатириков уважаю еще и потому, что они не пошли, как некоторые «модные лирики», на выучку ко всяким модернистам-крючкотворцам, не отступили от славных традиций народности.

3

...Несколько дней я жил в нашей столице, в гостинице «Москва». Как-то утром спускаюсь на второй этаж и подхожу к парикмахерской. Народу было много. Пришлось занять очередь и ждать.

Посередине холла за круглым столиком сидел спиной ко мне коренастый командированный и читал свежую «Правду». Заметив через плечо, чем это он заинтересовался, я обрадовался: читает, вижу, на шестой странице мои сатирические стихи «Летние приметы», появления которых я уже с неделю ждал в газете. Не свожу с него глаз, потому что дядя не перестает смотреть на мои стихи. И даже больше того: через каждые десять — пятнадцать секунд плечи его, вижу, вздрагивают, а иногда и подсакивают...

«Разбирает! — думаю. — Доходит моя сатира. Подпирает смех, вот он и вздрагивает. Иначе от чего бы его плечи подсакивали?»

А что для автора может быть приятнее, чем наблюдать такую реакцию дорогого читателя!

Дядя дочитал. Еще раз вздрогнул. Перевернул газету и, вижу, смотрит уже передовую... А плечи снова — скачок! Нет-нет да и вздрогнут... Меня это удивило, и я несколько раз обошел вокруг него, и все стало ясно: видно, слишком плотно позавтракал человек, вот и икает не переставая!

Тут уж пришла моя очередь посмеяться.

«Хоть бы, — думаю, — перестал икать, когда будут его брить, а то еще порежут!»

ФЕДОР ЛЕБЕДКА



Как сейчас вижу его: голубые веселые глаза, из-под кепки спадает на лоб светлый чуб, на лице добрая, приветливая улыбка... Стоит он, руки в боки, среди бескрайней степи и рассказывает мне, кто он, откуда и как добирался сюда, аж до самой Волги. Иногда прищурит левый глаз и шутку подкинет...

Со времени нашей встречи прошло тридцать четыре года, а я и до сих пор не перестаю рассказывать друзьям, как, идя летней ночью приволжскими степями, вдруг услышал родную украинскую песню «На городі верба рясна», как пошел между хлебами на ту песню и познакомился там, в тракторной бригаде, с Федором Павловичем Лебедкой — механизатором из села Лозоватки, что в Компанеевском районе на Кировоградщине.

О таких, как он, люди должны знать. Вот расскажу про него и вам, дорогой читатель.

...Уже тридцатый день гремела бомбами, полыхала пожарами страшная война. С поля было видно, как далеко, за третьей горой, черный дым окутал край неба: горели созревшие хлеба, села... И хоть душу все больше охватывала тревога, Федор Павлович делал свое дело — день и ночь косил золотую пшеницу, которая так щедро уродилась в то лето.

Вчера он едва не погиб: дважды на покосе его комбайн враг обстреливал с самолета. Сегодня повторилось то же самое.

— Стой! — крикнул ему штурвальный и прыгнул с мостика в качающуюся на ветру пшеницу. Два «мессершмитта», как ястребы, кружили в небе и строчили из пулеметов. Падали на землю сбитые свинцом колосья.

Под вечер приехал в поле директор МТС. Сообщил, что неподалеку отсюда прорвались фашисты. Нужно немедленно выводить трактор и комбайн на дорогу и двигаться к Днепропетровску, на переправу.

До родного села, до родного дома было восемь километров. Но не смог Федор Лебедка попрощаться ни с родителями, ни с женой, ни с малыми сыночками — Иваном и Володей. Как сидел на тракторе в одной серенькой рубашке, так и выехал с покоса на дорогу и потянул трактором свой комбайн с зерном в бункере в далекий путь. А на том запыленном пути — бесконечные обозы... Обозы и обозы! На подводах старики, женщины, дети, домашний скарб. По обеим сторонам дороги, по жнивью и траве, бредет скот: ничего не хотели оставлять люди своему лютому врагу. Между этими возами покачивался и проплывал все дальше степной корабль Федора Лебедки...

На седьмой день добрался он до Днепра, до переправы... И здесь я дословно приведу то, что при встрече записал в свой блокнот из уст Федора Павловича:

— А около той переправы — и справа, и слева, и под горой — сотни машин, подвод.

Стою под бугорочком, как раз напротив моста, и соображаю, что не меньше, чем дня четыре, придется ждать очереди, чтобы переехать на другой берег. Вдруг слышу — тревога! Завыла сирена, объявили, что к мосту приближаются бомбовозы. Люди и вся охрана — кто куда! На том берегу, вижу, зенитчики подняли к небу стволы орудий... Ну, думаю, вот как раз для меня самый момент переправляться! Натянул кепку на лоб, дал газ и на мост... На земле бьют зенитки, в воде рвутся бомбы. А я жму и жму! Пусть окатило водой, пусть оглушило, но остался живой и

целый. И уже на левом берегу! — вспоминал Федор Лебедка свою переправу через Днепр.

Отступать дальше он и не мыслил.

Отъехал километров двадцать в степь и повернул в усадьбу колхоза «Новая жизнь».

— Не нужны ли косари?

— Ну как же! Очень нужны!..

Уже на другой день комбайн Федора Павловича снова проплывал по пшеничному полю. Собрав пшеницу на 120 гектарах, Лебедка перешел на ячмень, на просо. Планировал — после этого за сев возьмется...

Но не докосил он проса. Оголтелая гитлеровская орда лезла дальше на восток. Начиналась эвакуация и здесь... Испекли ему люди хлеба на дорогу, и потянул лозоватский механизатор Федор Лебедка дальше свой комбайн «Коммунар». Можно только себе представить, сколько трудностей и невзгод пережил он в дороге, как болела у него душа о жене, о детях, о родном крае.

Кроме своих личных забот, ранили сердце всевозможные беды попутчиков. Проезжая уже степями Запорожской области, Федор Лебедка встретил у обочины дороги двух стареньких учителей из Винничины. Старик сидел опечаленный, седая жена плакала, а их маленький внук ходил по траве и собирал ромашки. Неподалеку стояла старая телега, а еще немного подальше лежал, протянув ноги, загубленный буланый конь. Выбившись из сил, не смог он больше везти своих хозяев.

С час погрустил с ними Федор Павлович, потом прицепил их телегу к комбайну и два дня транспортировал на прицепе стареньких беженцев, до тех пор, пока на одной из станций не посадил их в поезд.

А сам заехал в один из колхозов Ореховского района, поставил около скирд в поле комбайн и начал молотьбу «на стационаре».

Припоминаю, как Федор Лебедка, рассказывая мне о работе в этом колхозе, достал из кармана справку, в ко-

торой говорилось, что он намолотил 600 центнеров зерна и 200 из них вывез на заготпункт.

Вести с фронтов не радовали. И вот в начале осени пришлось ему снова прицеплять комбайн к трактору. И тут я не могу не рассказать еще об одном его патристическом поступке, в котором была видна непоколебимая вера Федора Лебедки в нашу неминуемую победу над врагом.

Село, где он молотил хлеб, находилось далеко от МТС. Местный тракторист тяжело заболел и не мог эвакуировать трактор, стоявший у него на подворье. Значит, машина может попасть в руки фашистам. Чтобы этого не случилось, Федор Павлович позвал на помощь людей, разобрал машину до винтика, разложил мелкие детали в несколько мешков и роздал женщинам, чтобы спрятали у себя. Колеса, радиатор и другие крупные части развез по дворам. Переписал, что у кого. И список тоже оставил людям:

— Вернутся наши, соберете машину и в поле!..

Еще через три недели Федор Лебедка поднимал уже зябь в колхозе Ростовской области. А когда начались бои за Ростов, отправился снова в путь. В конце ноября 1941 года заснеженными дорогами Лебедка добрался до колхоза имени Калинина, Суровикинского района, Сталинградской области.

Картину его «въезда» в этот колхоз, как говорится, и пером не описать! На крыльях трактора, на мостике и на барабане комбайна сидели закутанные дети, женщины. По обеим сторонам «Коммунара» висели узлы и корзины многострадальных беженцев, которых по дороге подбирал странствующий тракторист из украинского села Лозоватки.

...Приняли его тогда приволжские хлеборобы как родного брата. Дали жилье, продуктов, помогли одеться потеплее, ибо хорошо знали, что никаких заработков Федор Лебедка уже давно не имел.

За зиму отремонтировал свои машины, а ранней весной 1942 года, как только запаровала земля, вывел трактор в поле. В одном из номеров газеты «Сталинградская правда» жители области читали потом, что один из первых завершил сев механизатор артели имени Калинина Федор Лебедка.

Но и тут повторилось то же самое, что и год тому назад. В середине августа, едва успел Федор Павлович вывести свой комбайн на пшеничное поле, как сразу же на него спикировал фашистский самолет и ударил из пулемета по крыльям хедера... Потом пришло известие, что гитлеровцы прорываются через Дон к Сталинграду...

А что было дальше — еще раз приведу слова мужественного и бесстрашного Лебедки:

— Брешешь, думаю, гад! Не сдамся до конца! И жму вверх по берегу Волги в сторону Быковых Хуторов. Уже там косил. Гречку, просо. В полевой бригаде и зимовал. Хотя и морозы были до сорока градусов, отремонтировал машины. А весной сорок третьего, когда фашисты драпали от Волги на запад, вернулся в колхоз имени Калинина. Посеял яровые, а теперь, как видите, хлеба доспели, и косить их уже вышел! — этими словами и закончил он рассказ о своем тяжелом пути от Днепра до Волги.

Мое знакомство с Лебедкой не было случайным. Из облземотдела сообщили в редакцию, что лучший тракторист области Федор Лебедка за самоотверженную работу награжден медалью и денежной премией. И моим заданием было — написать о нем очерк.

Вот мы и перешли, припоминая, к деловому разговору о его сегодняшних успехах на жатве.

— Косить еще много осталось? — спрашиваю.

— Гектаров девяносто...

— А трактор и комбайн не подводили вас?

— Нет, работали, как часы! — ответил Федор Павлович.

Потом добавил не без гордости:

— А у меня и подшипники еще те, что всю дорогу прошли...

Когда я спросил, как же так выходит, что у других трактористов бывают часто и поломки, и простои, а почему же у него, мол, такого не бывает, Федор Лебедка задумался, развел руками и ответил одной лишь фразой:

— Потому что я привык работать откровенно!..

Я почувствовал тогда в этом слове все: его любовь к земле, к Родине, к своей профессии хлебороба, к светлой жизни, во имя которой он готов перенести все беды!

— А когда докосите, что будете делать?

Федор Павлович усмехнулся, махнул рукой на запад и сказал:

— А тогда комбайн на прицеп и в свои края — до дома! Вот-вот и уже моя Лозоватка будет освобождена от врага... А дорогу я хорошо знаю!..

* * *

...Конец этого рассказа будет коротким. Опять, также в жатву, уже летом 1945 года, я во второй раз встретился с Федором Лебедкой на его родном поле за селом Лозоваткой. Теми же трактором и комбайном, что прошли дорогами войны до Волги и обратно, Федор Павлович со своими сыновьями собирал в родном краю урожай победы на плодородной кировоградской земле.

Два года тому назад я с грустью узнал, что Федора Лебедки уже нет на свете. Тяжело заболел и умер. Для меня, как и для многих, он остался в памяти живым, и еще долго я про него буду рассказывать людям.

И ТАКИЕ ЕСТЬ ДЯДЬКИ



лучилось это несколько лет тому назад. Часов в девять вечера кто-то постучал ко мне в квартиру. Я открыл дверь. Вижу, стоит краснощекий, уже седоватый мужчина.

— Вам кого?

— А не тут ли, извините, живет Олейник? — спросил посетитель молодцевато.

— Тут. Это я и есть.

— Тогда разрешите зайти! — а сам уже входит в квартиру.

Сели к столу. Полез дядя в один карман, потом в другой. Вынул целую кучу разных бумаг и начал:

— Приехал я из Сумской области. И вот по какому делу.

Он долго рассказывал мне о своем «деле». А сводилось оно вот к чему. Прожил этот дядя со своей женой тридцать пять лет. А месяца четыре тому назад «увидел, что у нее очень злое сердце». И ушел от жены. Подыскал себе другую женщину, как он выразился, «симпатичную и состоятельную дамочку»... А та, первая, подала в суд и отсудила у него (вполне законно, разумеется) половину хаты.

— Вот такая несправедливость у нас там, в низах, творится! — возмущался дядя. — Хату ж строил я, а не жена! А она что — варила, шила. Ну, иногда белила хату. Но я ж ей за это всякий раз отрез на юбку покупал! Так за

что же ей еще и половину хаты? За что, товарищ сатирик, а? — И он начал клонить к тому, чтобы я, дескать, раскритиковал суд в печати.

Спрашиваю его:

— А вы уже куда-нибудь ходили тут, в Киеве, по этому делу?

Он вздохнул:

— Ходил в Верховный Совет, к товарищу Ковпаку.

— Ну и что?

— Дело плохо! Очень неудачно я на прием к нему попал. Сидело нас там, в приемной, двое мужчин и пятнадцать женщин. Ровно в десять вышел из кабинета товарищ Ковпак, поздоровался и спрашивает: «Это все ко мне?» — «Все», — говорим. «Ну вот, все и заходите!» — показал он рукою на кабинет.

Я думал, товарищ Олейник, что он вызовет нас по одному и можно будет с ним наедине поговорить, как мужчина с женщиной, а Сидор Артемович пригласил всех сразу, словно на какое собрание.

Сел он за свой небольшой столик. А сбоку, вот так, сидят его советники-юристы, с законами в руках. Каждый, значит, из нас подходит туда, к нему, и свое дело рассказывает. Настроение, вижу, у Ковпака хорошее: уже троих помиловал. А тут пришла и моя очередь. Подсел я к Ковпаку, склонился поближе и начал тихонько рассказывать. А Сидор Артемович взял почему-то и перебил меня: «Говорите так, чтобы все слышали, не стыдитесь!» — и как будто даже рассердился.

Начал я теперь уже громко рассказывать: про жену, про хату. И тут такое пошло, такое поднялось! То одна баба подскочит и ругает меня, то эта сядет, а другая подскочит.

«Как тебе не стыдно! — кричит. — Обидел жену, бесовестный, да еще приперся в Верховный Совет!..»

Я не выдержал и повернулся к ним. «Замолчите! — говорю. — Я не к вам приехал. Мне совсем не интересно

слушать то, о чем вы болтаете, я это и дома слышал! Мне интересно, что Сидор Артемович скажут. Вот зачем я приехал».

А товарищ Ковпак погладил бородку и говорит мне: «И я так скажу, как эти люди говорят!..» Вот с тем я и ушел. Очень неудачно на прием попал! Теперь пришел к вам, так как слышал и в газете читал, что сатиры все боятся, независимо от должности...

— Это правильно,— говорю.— Но вы, любезнейший, не учли, что боятся только той сатиры, которая справедливость защищает!..

Вот какой обиженный дядя ко мне приходил. Есть еще такие.



то было в рабочем кабинете бывшего партизанского командира Сидора Артемовича Ковпака. К нему, как к первому заместителю Председателя Президиума Верховного Совета УССР, часто приезжали разные люди со своими просьбами и хлопотами. Приезжали как к отцу: ведь по всей Украине шла молва о том, что Сидор Артемович когда принимает людей, то дело каждого тут же и решает. Он не говорил, как некоторые, что вы, мол, уезжайте, а мы вам о результате напишем: выслушает, разберется и так или эдак, а решит конкретно, по-деловому.

И при людях!

Говорю «и при людях», ибо, как мне рассказывали и как потом я и сам убедился, принимал он посетителей так. Выйдет точно в десять часов в приемную, поздоровается с людьми и спросит:

— Все ко мне?

— К вам!

— Ну тогда все и заходите!

Человек пятнадцать, а иногда и восемнадцать заходили в кабинет, располагались на стульях... И замолкали. Рядом с Сидором Артемовичем сидели за столиком юрист и референт. Секретарша вызывала по очереди прибывших. Каждый подходил и рассказывал свою беду, свою просьбу. Люди слушали, задумывались над услышанным. И, наверное, потом, вернувшись в свои края, рассказывали зем-

лякам, как Сидор Артемович решал ту или иную нелегкую задачу.

Мне захотелось побывать на таких приемах, послушать те житейские истории, с которыми люди идут к легендарному Ковпаку. Я попросил у Сидора Артемовича разрешения присутствовать. И он разрешил.

— Только сядьте себе где-нибудь сзади,— сказал,— и ничего не записывайте, а то это сковывает людей...

Я не записывал.

Теперь рассказываю по памяти то, что больше всего мне запомнилось на таком приеме в первый же день. На вызов секретарши тихонечко подошел к столу белокурый мальчишка и, опустив голову, мял в руках синенький картузик. Я видел, как вместе со старшими он вошел сюда, как тихонько сидел среди пожилых женщин. Я был уверен, что приехал он с матерью, чтобы посмотреть Киев.

Сидор Артемович некоторое время молча смотрел, а потом спросил у хлопца:

— Как тебя зовут?

— Алеша...

— А зачем же ты приехал ко мне, Алеша?..

Присутствующие насторожились, а мальчишка, подняв голову и прижав обеими руками к груди свой картузик, без единой остановки и без единой паузы по-детски честно заговорил:

— А я приехал, деда, потому что мамку засудили на год за то, что варила самогон, а я дома теперь один и сам себе есть варю, и за коровой смотрю, и в школу хожу, и мне трудно, и люди сказали, чтобы ехал к вам и попросил, чтобы мамку освободили,— одним духом выпалил Алеша.

— А отец-то где?

— Погиб на войне...

— Зачем же она гнала этот самогон? — покачал головой Сидор Артемович.— Разве не знала, что этого нельзя делать?

И Алеша снова горой встал за маму:

— А она, деда, гнала потому, что мы как раз начали хату крыть, а те дядьки, что нанялись это делать, сказали, что если не будет самогонки, то они и на хату не полезут. Мамка варила, а когда увидела в окно, что идут председатель сельсовета и милиционер, то не успела за кваску спрятать. И ее засудили...

— Понятно! — вроде сам себе сказал Сидор Артемович. Он нагнулся к юристу и референту, о чем-то поговорил с ними, а потом посмотрел на мальчика и мягко сказал: — Вот видишь, Алеша, как нехорошо выходит. Мамы нет, а ты ходишь в школу и, может быть, носишь двойки оттуда...

— Нет! Двоек не пошу, деда!..

— А что же?

— Четыре, пять. И только одна тройка, по пению!

Сидор Артемович поднялся, погладил мальчика по плечу:

— Давай с тобой так договоримся, Алеша. Если обещаешь мне, что будешь учиться на пять, то я сейчас распоряжусь, и, пока ты домой приедешь, возможно, и маму освободят.

— Буду, деда! Честное слово, буду! — как клятву произнес хлопчик дрожащими губами.

— Тогда давай руку, и счастливо тебе доехать! — усмехнулся Ковпак. — А билет на поезд у тебя есть?

— Нет, пойду сейчас на станцию, доставать...

Услышав это, Сидор Артемович нажал кнопку, и в комнату быстро вошел молодой человек.

— Отвезите Алешу на вокзал, купите ему билет, посадите в поезд, а потом расскажите мне, как он уехал...

— Хорошо! — отрапортовал тот.

— Спасибо, деда Ковпак! — сказал Алеша. И, боясь повернуться к старику спиной, задом пятился до дверей, уже на пороге надевая свой мятый картузик...

— Гражданка Выхлестова! — прочитала секретарша.

К столу подошла пышнотелая дама.

— Слушаю вас, рассказывайте!

— Я приехала из Одессы. Моего мужа, работавшего в тресте, осудили на двенадцать лет. Другие делали шахер-махер, а на него все свалили. Это же ужасно, Сидор Артемович, двенадцать лет! Прошу вас его помиловать или определить ему что-нибудь условно...

Сидор Артемович поднял руку.

— Минуточку! — И обернулся к юристу: — Прочитай-те, пожалуйста, что там гласит приговор...

Юрист громко прочитал, что Выхлестов, как это точно установлено следствием, за три года хашнул 64 тысячи государственных денег.

Дама прикладывала к глазам совсем сухой платочек, а Сидор Артемович ей говорил:

— Ничего другого я не могу «определить» вашему мужу, уж очень он виноват перед народом, перед государством. Понимаете? Не могу...

— Вы можете, но просто не хотите! — повысила голос одесситка. — Значит, вы бесчувственный человек, и я прямо отсюда поеду в Москву!

Люди, присутствовавшие в кабинете, смотрели широко раскрытыми глазами и ждали, как прореагирует Ковпак на столь нахальную выходку.

А Сидор Артемович спокойнейшим голосом попросил юриста:

— А ну, прочитай еще раз, сколько он там украл, ее муж?

Юрист поднялся и выпалил:

— Шестьдесят четыре тысячи!..

— Тогда поезжай в Москву! Имеешь на что ездить! — сердито сказал Ковпак.

В этот самый момент все посмотрели на дверь. К столу медленно, на цыпочках шел Алеша. Вид у него был какой-то смущенный, вроде бы в чем-то виноватый. Может быть, подумал о своем обещании и что-то его беспокоило?

Все взгляды остановились на нем.

— Ты чего вернулся, Алеша? — спросил Сидор Артемович.

— Я вернулся, деда, чтобы что-то вас попросить.

— Что именно? Говори...


— Давайте, деда, я уже со второй четверти буду учиться на все пять, а то эта четверть скоро кончится, — сказал Алеша и захлопал глазами.

— Ладно! Давай уж со второй четверти! — поддержал эту честную просьбу Сидор Артемович.

Малый просиял и быстро пошел к дверям, спеша на станцию.

...Когда бы потом я ни вспоминал свое пребывание на этом приеме, я ясно видел перед собой народного героя, сердечного Сидора Ковпака, а около него белявого хлопца Алешу.

ВЕРБЛЮД

 ду как-то по своей Красноармейской улице. Вижу, навстречу шагает седоусый сельский дядька с солидным свертком под мышкой и почему-то внимательно смотрит на меня. Я — на него. Он замедляет шаг, я тоже. Остановились.

— Ей-богу, не иначе как знакомый человек, — говорит дядька.

— Да и я вас вроде где-то видел, — отвечаю ему.

— Может, у нас в Золотоноше встречались?

— Нет, я совсем из других краев.

— А мы случайно не с вами в Полтаве на станции гуляли, когда тот высокий и чубатый на гармошке играл?

— Нет.

Стоим. Вспоминаем большие и малые города, сельскохозяйственные выставки, поезда — все напрасно. Где бывал я, там не бывал он, и наоборот...

— Да что ж это такое! — почесал дядька затылок. — Верите, даже ваш голос мне кажется знакомым. Вот старческая память! — И с досады сорвал он при этих словах с головы картуз и так им крутанул в воздухе, что я сразу все припомнил.

— Стойте, — говорю, — а это не вы хлеб на верблюде возили?

Он прямо-таки просиял:

— Ей-богу, возил!..

И мне уже не нужно было напрягать память: встала яркая и незабываемая картина нашей первой встречи.

...1942 год. Южная окраина Сталинграда. Раннее утро. Я спешу в вагонное депо. И наталкиваюсь на такую сценку. Посреди дороги лежит запряженный в воз рыжий верблюд. Вокруг него бегают уса́тый солдат-украинец и делает все, что только можно, чтобы поднять лежебоку: подхлестывает его кнутом, кричит «Гей!», кричит «Но-о!», «Тютю!», снова «Гей!», а тот спокойно покачивает шеей, со смаком жуёт свою жвачку и встать не хочет.

— Чтоб ты погибла! Откуда только взялась этакая скотина! — проклинал солдат свою тягловую силу. А потом сорвал с головы фуражку, покрутил ею в воздухе и что есть силы швырнул на землю. — Ну, что с ним делать? — в отчаянии обратился солдат ко мне.

Но я только развел руками.

— Ге-е-ей! Ты меня, чертяка, под трибунал подведешь. Я же точно в десять должен этот хлеб доставить солдатам!..

Мимо изредка проходили местные железнодорожники. И солдат обращался к ним:

— Как вы с нею тут разговариваете, с этой скотиной? Может, и меня надоумите!

Постоял. Подумал. Потом взял с воза один «кирпичик», присел спереди и, пятясь назад, начал заманивать верблюда, чтобы тот потянулся к хлебу и встал.

— На! На! На, чтоб ты белены наелся!

Верблюд вытягивал шею, чмокал губами, но подниматься и не думал.

Заманивание, видно, сильно разгневало рыжего лентяя: он, вытаращив глаза, плюнул с такой силой, что даже зашвистело.

— Чтоб в тебя сатана плевал! — закричал солдат, вытирая полу шинели.

Тут, на счастье, подвернулся какой-то местный старожил.

— Не встает? — спросил солдата.

— Хоть режь его, проклятого!..

— А у тебя нет газеты? Дай газету, сейчас подниму...

Тут уж и я пригодился. Взял у меня гражданин газету, свернул ее в трубку, приложил длинношеему к уху и изо всей силы крикнул:

— Гу-гу-гу!..

Верблюд как ошпаренный вскочил на все четыре ноги, и заколыхался, и пошел, оглядываясь.

— Видали? Теперь его, чего доброго, и не догонишь! — захохотал солдат, метнувшись за подвой.

После этого случая ни разу я не встречал в тех местах служивого с верблюдом.

И вот тебе на!

— Значит, то были вы?

— Так точно, я!..

Потом пошли мы на вокзал, так как мой знакомый спешил к поезду. И, пока мы шли, Николай Иванович Христенко припоминал все новые и новые веселые истории, что пришлось ему изведать в войну с этим верблюдом.

— Разбивало, — рассказывал он, — танки, машины, а его, представьте себе, даже пуля не царапнула. Бывало, когда сильно стреляли, так я за него прятался. Дошел с ним до Белгорода, а там уже фронт двинулся вперед так быстро, что верблюд спасовал. Отправили его в один совхоз, а меня посадили на мотоцикл.

Едва успел я узнать, что мой знакомый нынче работает в своих краях на колхозной пасеке, как подошел поезд. Садясь в вагон, Николай Иванович заметил, что через несколько часов он совершенно точно доставит и вручит подарок своей жене-имениннице. Кивнул в сторону паровоза и усмехнулся на прощание:

— Этот ведь не ляжет на дороге, ему в ухо не придется гутукать!

КОЖУШОК



Темной ночью сквозь жгучий морозный ветер улицей села Заплавного вел меня работник сельсовета, чтобы устроить куда-нибудь на ночь. Узнав, что я родом с Украины, старый волжанин сказал бодро:

— Вот теперь я знаю, куда вас вести!

Через несколько минут он колотил увесистой палкой в высокий забор. Скрипнула дверь хаты, видневшейся в глубине усадьбы.

— Кто такие? — послышался женский голос.

— Открывайте! Земляка вам привел!..

Я действительно попал к людям из моего края. Жили здесь эвакуированные из Гайворонского района мать и дочка. Как выяснилось впоследствии, Федора Павловна работала в местной школе, а ее двадцатилетняя Оксана — в детском саду.

Если бы мой провожатый не сказал фразы «земляка вам привел», возможно, в этот вечер меня бы и не приняли сюда на ночь. В хате и без того уже было двое военных, которых час тому назад встречали здесь с огромной радостью.

И понятно почему. Молоденького круглолицего лейтенанта Федора Павловна и Оксана называли просто Яшкой. Был он не только земляком-односельчанином, но и женихом Оксаны. Писал ей любовные письма в Заплавное, а теперь, будучи здесь поблизости, пожаловал к своей наре-

ченной. Привез ей, так сказать, устные клятвы в любви. Сидел за столом, держа чернооковую Оксану за руку. Федора Павловна потчевала чем могла гостей и все поглядывала умиленным взглядом то на Оксану, то на Яшку.

Второй военный, шофер в звании сержанта, был родом с Черниговщины. Звали его Василем Митрофановичем. С посевшими висками, выглядел он лет на сорок, не меньше. Чувствуя себя отчасти случайным гостем, Василь Митрофанович больше помалкивал да слушал, как лейтенант умеет громко и красиво выражать свои чувства.

Потом заговорили о разном. Вспоминали наши края. А когда зашла речь о суровой зиме, о жгучих заволжских ветрах, Василь Митрофанович спросил Федору Павловну, имеют ли они с Оксаной теплую одежду и не мерзнут ли в такую стужу.

— Да кое-как перебиваемся,— сказала Федора Павловна.— У Оксаны, правда, зимнего пальто нет, надевает что есть под свое демисезонное...

Василь Митрофанович немного помолчал, вздохнул и, наклонившись к Яшке, сказал:

— Может, отдадите, товарищ лейтенант, Оксане свой пушистый кожанок-жилет: наденет под низ, и красота будет!..

Лейтенант смущенно потупился, сделал вид, что не слышит, улыбнулся матери, Оксане.

— Давайте споем! — выкрикнул он звонко и затащил тенорком:

Ой гили, гили, гусоньки, на став.

Добрый вечір дівчино, бо я ще не спав...

Пели мы и другие песни, рассказывали всякие веселые истории. А около двенадцати часов ночи Федора Павловна провела нас на другую половину хаты. Лейтенант и сержант легли на кровати, я на лавке примостился. Василь Митрофанович и Яшка попрощались с Оксаной и с Федорой Павловной с вечера, так как в пятом часу утра им ну-

жно было вставать, идти куда-то в другой конец Заплавного, где они оставили при карауле машину, на которой должны были ехать дальше.

Проснувшись еще далеко до рассвета, военные быстро оделись, тихо распрощались со мной и прошли на цыпочках к санным дверям.

И ушли.

А через несколько минут совсем неслышным шагом в хату вернулся немолодой сержант. Будучи уверен, что я снова заснул, он, не сказав ни словечка, снял свою шинель, стянул с широких плеч теплый солдатский кожанок и хозяйски, двумя руками разложил его на кровати.

Когда выходил обратно, из другой половины хаты сквозь сон спросила Оксанина мама:

— Кто там?

— Извините, это я забыл кiset, вот и возвратился! — ответил шепотом Василь Митрофанович и поспешил догнать своего лейтенанта, которому, может быть, тоже сказал, что ходил за кisetом...

Долго я потом не мог заснуть. Думал об услышанном вчера за столом и о том, что увидел на рассвете.

А за окнами гуляла зима, люто высвистывал и шумел деревьями несмолкаемый морозный ветер.

МОИ ШКОЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ



ую первую, до сих пор любимую учительницу звали Олена Севериновна. Позже я учился и в техникуме и в институте, и у меня было много хороших учителей, но все равно Олена Севериновна остается в памяти самой лучшей и самой дорогой.

Как сейчас помню: молодая, красивая, в нежно-голубом или в светло-розовом платье, входит она в класс и говорит нам: «Добрый день, дети». Требовательная, строгая и в то же время ласковая, она умела так заинтересовать уроком, находила такие слова, когда рассказывала о природе или о писателях, что мы — маленькие Иваны, Марийки да Степаны — сидели как зачарованные.

И нас, и наших родителей привлекало в Олене Севериновне еще и то, что она всегда была на редкость аккуратной, чистенькой, в начищенных до блеска туфельках, как будто в наших краях не бывало ни ветра с пылью, ни дождей. И разве могла какая-нибудь мать пустить в школу к такой учительнице свое дитя неумытым и непричесанным!

Таким же уважаемым в селе учителем был и муж Олены Севериновны — Евгений Карпович Степанок, который также никогда не позволял себе явиться на урок или, скажем, выйти на люди в село в невыглаженном костюме, в несвежей сорочке, без галстука.

А как он умел красиво хозяйствовать на большой школьной усадьбе! Я не раз замечал, как опытные хлеборобы, бывало, поднимали головы над школьной оградой и

подолгу смотрели на сад Евгена Карповича. А там — настоящее царство красоты: разнообразные деревья, растения, всех оттенков цветы. И везде порядок, чистота. А как хорошо Евгений Карпович играл на скрипке!

Тридцать пять лет проучительствовали они в моем родном селе Левадовке. От подрастающих малышей до их отцов, у которых уже седели бороды, — все были учениками этих замечательных людей!

Когда Елена Севериновна или Евгений Карпович проходили по улице, то каждый хлебороб с большим уважением снимал перед ними шапку. Если, скажем, около кооператива стояли пожилые дядьки и о чем-то горячо между собой спорили, то достаточно было приблизиться Евгению Карповичу, как они, подобно школярам, замолкали.

Припоминаю еще одну деталь. В годы коллективизации в сельском клубе проходили бурные собрания селян. Кто бы ни вышел на трибуну — местный ли, или из района, в зале стоял невообразимый шум, летели с места разные реплики, выкрики.

Но вот дали слово Евгению Карповичу. И встревоженный зал притих, замолк. Сосед подталкивал под бок соседа: — Тише! Евгений Карпович говорит!..

Перед ним сидели его бывшие ученики, которых он с детства приучал к порядку и дисциплине, не одного из них, наверное, в свое время и за дверь выставлять приходилось. На собрании наступила такая тишина, как, бывало, в классе на его уроке.

Какую любовь и уважение народа надо было заслужить, чтобы пользоваться таким авторитетом!

Шли годы. Отдав все, что только могли, людям, Елена Севериновна и Евгений Карпович ушли на пенсию и переехали за тридцать километров от нашего села, в город Ананьев, откуда молодыми они и приехали к нам. В бывшем своем уездном городке они и стали жить. Кстати, в этом городе жил когда-то и более тридцати лет учительствовал в гимназии известный украинский композитор Ни-

щинский, автор неумирающей песни «Закувала та сива зозуля».

Год 1941-й. Грянула война. На временно оккупированной врагом Украине мои старые учителя попали в беду: без пенсии, им жилось очень тяжело.

И вот в феврале, в зимнюю стужу, старенький Евгений Карпович, с палкой в руке, отправился из Ананьева в Левадовку — искать среди дорогих ему людей, которым отдал он свои молодые годы, помощи и поддержки.

Уже стемнело, когда Евгений Карпович добрался до Левадовки. Искать приюта ему не пришлось. В первой же хате, куда он постучался, встретили и приняли его как родного: обогрели, накормили, дали лучшую постель.

А на другой день утром уже все село облетела тревожная весть:

— Евгений Карпович и Олена Севериновна голодают!

— А где они?

— У Наталки сейчас Евгений Карпович. Он пришел из Ананьева, чтобы достать что-нибудь на прожитие...

И начали нести ему мои землячки-солдатки что имели: эта — ведро картошки, та — курочку, другие — сала, гороху, масла...

— А от меня примите, Евгений Карпович, вот эту буханку хлеба, — сказала старая Мотря. — Это же вы моих внуков учили, оба лейтенанты, где-то воюют теперь с врагами... — и вытерла слезы.

Узнал о появлении в селе Евгения Карповича и местный староста, тоже бывший его ученик. Показать на глаза своему учителю ему, должно быть, было стыдно, хоть, как говорят, избрали его на эту должность почти насильно. Видимо, и старосте стало жалко старого учителя. Он позвал мельников, приказал им украсть с мельницы мешок белой муки и пригрозил, чтоб, боже упаси, не говорили Евгению Карповичу, где взяли муку. Дал лошадей, подводу и прошептал на ухо ездоному:

— Поедешь рано утром с мешком к Наталке, все погрузишь и отвезешь Евгена Карповича в Ананьев...

На другой день, на рассвете, десятки женщин, стариков и детишек провожали старого учителя до околицы.

— Ой, подождите, Евгений Карпович! — догоняя воз, кричала тетка Оля. — Напекла как раз пирогов, вот возьмите на дорогу!..

За селом подвода остановилась, все начали за руку прощаться с учителем. Все разом заговорили: передавали привет Олене Севериновне, опасливо оглядываясь по сторонам, спрашивали, что же будет дальше, скоро ли придут наши.

И как только взволнованный учитель встал на возу, снял шапку, кто-то крикнул в толпе:

— Тише! Евгений Карпович говорит!..

— Думаю, что терпеть нам осталось недолго. Этой весной мы и будем жить! Спасибо вам за все доброе!

И подвода двинулась на Ананьев.

...Об этом его последнем приезде в село рассказали мне мои земляки; им известно, что Евгена Карповича уже нет в живых (умер через несколько лет после войны); Олена Севериновна последние годы жила в городе Свердловске, вместе с дочкой. Летом 1975 года ее не стало...

Еще долго-долго будут рассказывать старшие младшим об Олене Севериновне и Евгене Карповиче. У народа — долгая память. О тех, кто делает ему добро, он никогда не забывает.

ЧАЙКА

I



теперь и степь. Среди осеннего пожухлого жнивья лежит укатанная за лето дорога. Вдали виднеются села, хутора. Вокруг невозмутимая тишина. И только иногда эту тишину нарушает скрип колес одинокого воза.

В такую пору 1923 года ехал я с отцом в Одессу. Ехал туда учиться, так как в нашем районе тогда еще не было семилетки. В наши дни такое расстояние в сто двадцать километров мои земляки пролетают на машинах за два часа. А нам предстояло трястись двое суток.

— Ночевать будем у Менделя, — сказал отец.

Добрались мы до заезжего двора Менделя в местечке Яновка, когда уже совсем за вечерело. Не стану рассказывать про этот «отель», про десятки возов с поднятыми вверх дышлами, про дядек-степовиков, которые, накормив и напоив лошадей, сами с аппетитом пили чай вприкуску в Менделевом «буфете».

Меня манило выйти на улицу, посмотреть местечко. Через полчаса я уже бродил по его вечерним улицам. Над белыми домиками, подмаргивающими огоньками через ветви пожелтевших садов,плыли тихие осенние тучи.

Мне все было интересно: и рассматривать вывески на ларьках, и слушать доносившееся откуда-то шипение граммофона, выводящего мелодию вальса «На сопках Маньчжурии». Все мне было интересно. Я ходил и наблюдал.

Вдруг я остановился. В глубине яблоневого сада, мет-

рах в пятнадцати от улицы, я увидел в освещенной большой висячей лампой комнате красивую белокурую девушку. Вот она с листами в руке подошла к какому-то, до сих пор невиданному мной инструменту. Развернула листы, перекинула косу через плечо и заиграла. А потом — запела!

До этого времени мне казалось, что нигде нет таких дивных голосов, как у моих землячек, что нигде так хорошо не поют, как в моем родном селе. И только тут я понял, что это не так. Из раскрытого окна над ветвями сада, над степным местечком Яновкой неслась такая песня, переливался серебром такой чарующий голос, что я уже никуда не пошел. Стоял и слушал:

Вот вспыхнуло утро,
Румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит...

Слушал, и мне казалось, что я ясно вижу, как на крыльях ее звонкой песни все выше и выше взлетает в вечернее небо степная черноморская чайка. Я не знал, кто эта девушка, не знал ни ее имени, ни фамилии, и, может быть, поэтому запомнилась она мне на долгие годы — чайкою...

Долго пела девушка, и так же долго высматривал меня отец на заезжем дворе. Когда я вернулся, он сердито спросил:

— Где это ты был? Я уже ходил тебя искать! Отвезу тебя в Одессу, а ты и там будешь вот так же за ветром гоняться?

Я рассказал ему о домике в саду, о чайке, о ее песне. Потом теснее прижался к отцовскому теплему плечу, и мы заснули на возу.

А рано-рано утром, когда мы проезжали мимо того сада, окна домика были прикрыты синими ставнями. На подворье не было видно ни души. Красавица Чайка, видимо, еще спала.

Воз, постукивая, катился дальше и дальше, а я все

вертелся на нем, все оглядывался: может быть, выйдет, может, хоть промелькнет в саду! Кто она? Чья?

Эта загадка так и осталась для меня неразгаданной ровно десять лет!

За это долгое время много раз довелось мне ездить через Яновку: то на зимние, то на весенние каникулы, а то после летнего отпуска. Но сколько я ни старался увидеть девушку, мне это не удалось. Только каждый раз в памяти воскресали: далекий осенний вечер, она, песня и — чайка...

II

Как-то в горячую летнюю пору жатвы, когда я был уже студентом четвертого курса пединститута и писал стихи, меня вызвали в редакцию областной газеты и попросили поехать в Яновский район. Задание мне дали вполне конкретное. Написать очерк о знатном комбайнере-орденоносце.

Можете себе представить, дорогой читатель, как я обрадовался такой командировке!

— Поеду, напишу! — И, конечно, подумал, что, может быть, теперь, через десять лет, удастся разведать и чья это хата в яблоневом саду, и кто она, та белокурая певунья? А может быть, и увидеть?!

Утром следующего дня я прибыл в Яновку. Смуглый веселый секретарь райкома комсомола запряг коня в двухолку, и мы поехали искать в поле комбайнера... А когда встретились с ним и познакомились, то в поле и провели весь день.

Уже шестой раз проплывал я на мостике степного корабля по золотому хлебному полю. Наблюдал за работой комбайнера, думал над сюжетом будущего очерка.

...Солнце садилось. Мы возвращались с поля в райцентр. Вот уже виден и новый Дворец культуры, расположенный в середине местечка. Огромная афиша оповещала,

что сегодня во дворце состоится концерт артистов Одесской оперы и филармонии...

«Пойду! — решил я. — Во-первых, можно дать хорошую информацию в газету. Во-вторых, если та девушка, которая так увлекается песнями, еще живет тут, то она непременно придет послушать известных певцов. Там, во дворце, я уж у кого-нибудь все о ней расспрошу, а возможно, и саму ее встречу».

И я действительно ее встретил.

Произошло, однако, это совсем не так, как я себе представлял.

Закончилось первое отделение концерта. Кончился и антракт. Публика, явно чем-то взволнованная, занимала места, словно в ожидании чего-то особенного.

На сцену вышел улыбающийся конференсье и на высокой ноте громко объявил:

— Выступает заслуженная артистка республики, ваша землячка... — и назвал фамилию артистки.

Грянули аплодисменты, и к моему удивлению, на сцене появилась она! Чайка! Та самая Чайка, с той же светлой косой, только была она на десять лет старше...

Не буду рассказывать, как горячо принимали ее земляки, да иначе и быть не могло.

Когда концерт окончился, я, держа в руке свою редакционную командировку, пытался пробиться за кулисы...

Но встретился я с Чайкой, о которой столько мечтал, только тогда, когда она шла в кругу своих друзей-артистов из Дворца культуры в свой родной дом, в тот самый дом в яблонево́м саду.

Когда гости свернули на дорожку сада, где на крыльце их уже встречала старенькая учительница, мать заслуженной артистки, я, взволнованный воспоминанием, стал рассказывать певице все: что я десять лет помню песню про чайку, что всегда надеялся увидеть ее, проезжая мимо, что я очень рад ее успехам...

Слушала она меня очень внимательно и, может быть,

вспоминая свою юность, иногда тихо вздыхала. А потом спросила:

— А где вы учились?

— В Одессе,— говорю.

— Так и я же в Одессе!.. А жили где?

— В студенческом общежитии, на Комсомольской...

— Да что вы говорите! — всплеснула она руками.— Ведь и я жила там же в четвертом корпусе, а училась в муздраме!..

Не успел я сказать, что мой корпус был номер первый, как с крыльца послышался голос матери:

— Лидочка! Где ты?

На зов матери ответил Лидин муж:

— Да тут, понимаете, привязался к ней некий писака из какой-то редакции...— А потом строго пробасил: — Ли-и-ида! Это уже неприлично!..

Лида с нежностью посмотрела на меня, потом как-то тревожно вздохнула и, протянув на прощанье обе руки, сказала:

— Надо идти! Спасибо вам за добрую память...— И ушла.

Мне было уже не пятнадцать лет, как тогда, когда я простоял на этом самом месте больше часа. Проводив ее взглядом до самого крыльца, я ушел.

Вскоре райкомовский кучер вез меня мимо ее дома к ночному поезду на станцию Затихье. Он что-то говорил мне, да я слушал не его — слушал, как из освещенных окон вырывалась и взлетала ввысь, на всю широкую степь, незабываемая песня:

Вот вспыхнуло утро,
Румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит...

И я подумал, что, если бы не моя встреча с ней, она пела бы сегодня какую-нибудь другую песню!..

Двуколка уже выкатила за местечко в поле, а чайка

все провожала и провожала меня: и в далекую юность, и до степной станции Затишье...

Разве мог я тогда знать, что больше мы уже никогда не встретимся?

III

Прошло одиннадцать лет. По нашей Родине прокатилась страшная война.

В августе 1944 года мне довелось побывать в Одессе. Проходя мимо оперного театра, начинавшего в то время возрождать свою деятельность, я решил узнать о своей давней знакомой и о ее судьбе.

На мой вопрос администратор театра ответил не сразу — он долго смотрел на меня из окошка, а потом спросил:

— А вы кто ей будете? Просто знакомый или родственник?

— Земляк, — говорю, — мы из одних мест.

— Тогда подождите, пожалуйста, я выйду и все вам расскажу...

Он еще ничего мне не сказал, а я уже почувствовал, что с моей землячкой что-то случилось. Удивительным было и то, что администратор вышел поговорить почему-то со шляпой в руке.

— Пойдемте, товарищ!

И повел меня не в ту сторону, откуда слышался гомон артистов, а к выходу на улицу. Там, не говоря ни слова, он повернул налево в скверик. Я шел за ним, ни о чем не спрашивая. Задумался и очнулся только тогда, когда мы оказались среди газонов с пышными и пестрыми цветами. И тут мой провожатый умерил шаг, остановился и тихо снял шляпу.

— Вот она, ваша землячка, соловей наш... — Он раздвинул цветы бессмертника, и я прочитал на серой могильной плите имя, отчество и фамилию Лиды-Чайки...

Несколько минут мы стояли молча, охваченные скорбью. Как, когда и при каких обстоятельствах это произошло — все подробно рассказал мне мой собеседник. Погибла моя землячка тогда, когда в город ворвались дикие орды оккупантов. Лида была в боевой добровольной дружине. И в то утро, когда пьяные фашисты врывались в театр, из окон фойе второго этажа их встретили огнем бойцы-дружинники и группа партизан, начавшая уже свою деятельность в городе.

Администратор театра поднялся со мной на второй этаж, приблизился к среднему окну и показал:

— Вот здесь, на этом месте, и погибла она с винтовкой в руках, наша заслуженная артистка...

Я стоял у окна и снова вспоминал и тот далекий осенний вечер, и то лето, когда родная Яновка встречала ее аплодисментами, и то, как она сказала мне на прощанье: «Спасибо за добрую память!..» — и как провожала меня песней до степной станции...

А за окном, вдали, голубело бескрайнее море! Над его бирюзовыми волнами — насколько охватывал взгляд — кружили бессмертные, белокрылые чайки. И верилось мне, что среди них была и та, которую видел я когда-то в вечернем степном небе над местечком Яновкой!

НАТАЛКА-ПОЛТАВКА



омните песню: «Мала мати одну дочку, та й купала у медочку». Этот неумирающий запев можно отнести и к Наталке... Я встретил ее уже двадцатилетней, в полном расцвете сил и девичьей красоты, которую она не променяла на обещанные ей хоромы, легковые машины и прочую роскошь. Рядом со своей поседевшей мамой, Оксаной Петровной, сидела Наталка в родной хате за столом и рассказывала мне то, что я записал и хочу вам поведать.

Добавлю только, что говорила Наталка обо всем этом весело, с искорками смеха в черных глазах, как будто бы не про свою судьбу рассказывала, а пересказывала какой-то фильм. Поэтому Оксана Петровна иногда сердилась:

— Я, как ни вспомню, так плачу, а ей все смешки!

Единственная у родителей дочка, русококая Наталка, перед самой войной окончила девятый класс Диканьской средней школы и перешла в десятый. А ее лучший друг, чубатый Петро, фотокарточку которого я держал в руках и читал на обороте написанные им стихи под заголовком «Наталочке», закончил тогда десятый, выпускной.

В тот памятный день, на околице Диканьки, там, где уже начинались поля, она и попрощалась с Петром: возвращалась в свое село, что зеленело садами вдаль, на высоком берегу, над речкой Ворсклой. Петро через два дня уходил в армию.

А еще через неделю расставалась Наталка с отцом: грянула война.

А потом — нет долгожданной весточки ни от отца, ни от Петра.

А потом... минул один страшный год.

Минул и второй...

Жили с матерью, как жили тогда все люди на оккупированной фашистами Украине. И не так боялась Оксана Петровна грабежей, голода и окриков старосты, как боялась расцветшей красоты Наталки. Все ее лучшие платья, вышитые блузки и даже школьную форму запрятала она на самое дно старого сундука. Одевала свою доченьку в залатанное, поношенное, пышную косу прикрывала стареньким платком, чтобы хоть как-то защитить Наталкину красоту от хищного глаза злого врага.

Да, как говорится в народе, беда и горе не по лесу ходят, а среди людей.

Вот что более двадцати лет тому назад записал я из уст растрепанной Оксаны Петровны:

— В конце июля, в пятницу, под вечер, приходим с поля, а во дворе, под той вон акацией, видим, сидит немец с автоматом и полицай около него. У меня сердце похолодело... Забрали ее в управу, а там посадили еще четырех девчат на грузовик и повезли в Диканьку... У меня за ту ночь подушка от слез прогнила...

— Так это же, мама, давно миновало, не плачьте, — успокаивала Наталка. И сама продолжила рассказ.

Привезли ее во двор той самой школы, где два года назад закончила она девятый класс, где было у нее столько подруг, где встречалась на переменах с Петром, пела в хоре, мечтала о будущем. Тогда входила она в этот двор веселой, окрыленной.

Теперь — привезли ее сюда под ружьем. С ужасом увидела она, что школьная усадьба почти до окон второго этажа обнесена колючей проволокой. Те деревца и цветники, которые когда-то она сажала и поливала вместе с

друзьями, поломаны, смяты колесами и затоптаны сапогами. Из классных досок сколотили будку для привезенных на ее Полтавщину из Германии лютых овчарок. В классах первого этажа сидело и лежало шестьдесят горемычных девочек, загнанных сюда из окрестных сел местным предателем, диканьским бургомистром. Он загнал их, чтобы отправить в неметчину, в неволю. Кругом школы, по ту сторону колючей проволоки, с утра до ночи ходили с торбами заплаканные матери.

Девчат должны были отправить через несколько дней. Никто из них не мог знать, что перед отправкой диканьский бургомистр приведет сюда на смотрины своего мордастого двадцатисемилетнего сына. А он привел.


Невольниц выстроили в один ряд, приказали не плакать, снять платки и повыше поднять головы.

— Ну, сынок, рассматривай и выбирай. Какая тебе понравится, та и будет твоей женой...

Сказав это, бургомистр упер руки в боки. А его скуластый отпрыск медленно вышагивал вдоль строя девушек. Около каждой дивчины останавливался, заглядывал в глаза, скалил зубы и проходил дальше. Выбирал с таким видом и деловитостью, как когда-то барышники выбирали лошадь на ярмарках. Прошел еще раз и остановился.

— Вот эта, отец!

— Правильно! Я тоже так бы выбрал,— усмехнулся гнилозубый бургомистр из-под немецкого картуза.— Как тебя зовут? — спросил он.

 — Наталкой,— и зарыдала.

— Не будь глупенькой! — ластился непрощенный «свекор». — Радоваться должна, ведь, подумай, за кого идешь. Заживешь в лучшем доме, будешь на машине ездить, как барыня. — Приказал ей выйти вперед, спросил, из какого она села. Потом добавил: — Поедем к твоей матери, сделаем все, Наталка, по закону, как полагается...

Чтобы успокоить свою избранницу, мордастый жени-

шок Кирило одернул пиджак, посмотрел на свои лакированные туфли, подошел поближе к Наталке и протянул ей две груши:

— Ешь, очень вкусные.

Девушка отвернулась и еще сильнее расплакалась.

Через несколько минут она осталась во дворе одна: всех других девчат отвели назад в классы.

А потом степной дорогой, мимо сада и высоких хлебов, начавших уже созреть, везли Наталку машиной в родное село к матери, которая должна была решить ее судьбу.

Можете себе представить горе матери! Что ей делать? Что сказать этому «свату» в мундире душегуба? Не о такой свадьбе и не о таком женихе для своей дочери мечтала Оксана Петровна! А бургомистр и его придурковатый верзила упрашивали, настаивали:

— Разве не радостно вам будет сознавать, что ваша дочка живет в богатстве. Вы же знаете, кто я, какую власть имею!..

— Да ей же только восемнадцать, ей же еще учиться надо! А что скажет отец, когда вернется, он же не простит, что молодость Наталкину сгубила. Ой, не могу! — убивалась мать.

От таких слов бургомистра покорило. Едва сдерживая ярость, он сказал:

— Может, и вы прислушиваетесь к пальбе за Харьковом? Выкиньте это из головы, возврата не будет. Все эти наступления красных будут разгромлены великой Германией!..

Оксана Петровна, конечно, не сказала, как вместе со своими соседками-солдатками собираются вечерами и слушают далекие раскаты орудий, как радуются, что эти военные громы все ближе. Она только просила:

— Подождем! Хоть годик давайте подождем...

Тогда бургомистр отвел ее в сторону и велел выбрать одно из двух:

— Либо выдавайте и не позорьте мой высокий авторитет перед людьми, либо я сгною Наталку в Германии! — сказал, стиснув кулаки.

Услышав эти страшные слова, мать заломила руки, опрометью кинулась к Наталке и с нестерпимой болью и душевной мукой вымолвила:

— Выходи, дочка!

В этом решении тлела единственная надежда, что Наталка останется в живых.

Через два дня повез Кирило Наталку в местечко. Купил ей венок, фату, лакированные туфли, брошку. Договорились, что в субботу во второй половине дня жених приедет со своими родными и с музыкантами к Наталке. Погуляют весь вечер, утром повенчаются, здесь пообедают после венца, и тогда уже заберет Кирило Наталку в свои хоромы, чтобы стала она ему женой.

Наступила суббота.

В шестом часу вечера во двор Оксаны Петровны въехали три легковых машины, а за ними грузовик, на котором блестяли кларнеты и трубы музыкантов. Родители, родственники Кирилы и несколько немецких офицеров зашли в ту половину хаты, где уже стоял накрытый стол. В другой половине, обливаясь слезами, Оксана Петровна обряжала в фату и венок свою доченьку Наталку.

Потом во дворе заиграла музыка. Стали собираться молодницы, девчата, парни. Начались танцы. У ворот стояло несколько стариков. Они молча смотрели на веселье. В хате уже пили, закусывали, кое-кто из гостей порывался запеть. Со двора заглядывали в окна Наталкины ровесницы. И те из них, которые не могли сдержаться от смеха, отскакивали и хихикали:

— Ну и кино! — и самыми что ни на есть обидными словами обзывали жениха.

А он уже накачался, лез к своей парченпой и болтал:

— Как парнца заживешь!

Наталка встала из-за стола. Сказала, что выйдет по-

танцевать с подружками... Вышла, увидела, что месяц скрылся уже за гору, и кинулась за хату, в сад.

Во дворе играли трубы, бухал барабан. В хате громко разговаривали. Будущая Наталкина «свекруха» хвасталась женщинам, какие кушанья приготовила к свадьбе. Начала было что-то про своих батрачек рассказывать да замолкла, так как «свекор» покосился на нее и со злостью наступил ей под столом на ногу. Мужчины болтали о чем-то своем.

И вдруг все как-то сразу зашумели:

— А где же Наталка?

— Наталка где?

Оксана Петровна метнулась во двор. За ней «сваха», бургомистр, немецкие офицеры и Кирило, уже еле-еле двигающий ногами.

Оборвалась музыка. Замолкли люди.

— Где Наталка?

Односельчане сказали, что видели, как она пошла в сад. И все. Эта тревожная неизвестность навевала тоску и страх.

К Оксане Петровне подступил исположенный бургомистр и зашипел:

— Сговор? — Но, заметив, что мать ни жива ни мертва, выкинул из головы эту мысль.

— Дочка! Наталочка! — закричала мать. — Неужели задумала руки на себя наложить!..

Но дочка не откликалась.

По приказу немецких офицеров, по селу и по полю уже носились машины и все просвечивали своими фарами. Люди искали в садах, в сараях, заглядывали в колодцы.

Искали до утра. Потом весь день.

А Наталки не было...

В конце усадьбы за садом, в котором уже обильно краснели спелые вишни, был крутой спуск, обросший бурьяном. Дальше — насколько хватало глаз — по всей долине широкой полосой вдоль Ворсклы тянулась пойма с высо-

ким густым камышом, осокой и рогозой. Летом никто, кроме, может быть, заядлых охотников, не ступал там ногою. Уже осенью, когда камыш желтел, а то и в начале зимы приходили люди в эти непролазные чащи и жали камыш, вязали в снопы...

Как раз сюда и устремилась Наталка, убегая от своей принудительной свадьбы. Вышла она в сад, увидала, что месяц спрятался, обернулась, прислушалась, как в хате и во дворе гуляли.

— Будь ты проклят со своими хоротами! — прошептала она.

И побежала с пригорка по склону в густой камыш. В белой фате, в венке, в лакированных туфельках... И пошла, разгребая высокие, как лозняк, заросли. Вначале морщилась от боли, когда царапающиеся стебли хлестали руки, ноги, потом ничего не чувствовала. Отодвигала в сторону зеленую чащобу и шла. Иногда с мелких плесов, которые были ближе к речному течению, над нею взлетали и хлопали крыльями стаи крикв, куликов, лысух. Цепляясь за камыш, тащилась за ней фата, которую Наталка не сбрасывала, чтобы не оставлять следа.

— Лучше тут упаду и умру, если сердце не выдержит, — повторяла, как клятву, Наталка.

И пробивалась. Дальше и дальше...

На мгновение остановилась. Прислушалась и почувствовала, что в селе началась тревога. Еще проворнее замала руками, ныряя в густую чащу...

И так до рассвета.

И так двенадцать километров, вниз по Ворскле!

Потом добралась до крутого берега, увидела то село, где на пригорке возвышался старый ветряк, и побежала огородами к хате, в которой жила ее подруга Настя. С нею вместе училась перед войной в одном классе. Наталка хорошо знала эту хату. Не раз, бывало, приходила сюда в гости к подруге.

На пятый день, когда поиски Наталки прекратились,

измотанная горем Оксана Петровна нашла в сенях листок бумаги, на котором было написано: «Не плачьте, ваша дочка жива».

Поздней ночью эту записку просунула в дверную щель Настина мать, которая два месяца укрывала Наталку на чердаках и в погребах.

...Встретились мать с дочкой в конце сентября тысяча девятьсот сорок третьего года, когда советские войны освободили Диканьский район. После этой первой радости пришла вторая: получили с Белорусского фронта письмо от отца. Еще через неделю новая радость: на пяти страницах пришла весточка от Петра, которая заканчивалась стихотворением К. Симонова «Жди меня, и я вернусь!».

И Наталка ждала. Мужественно, героически, с чистой совестью и честью.

Я разговаривал с ней и с ее матерью в начале тысяча девятьсот сорок пятого года, когда побитые фашисты и диканьский бургомистр вместе со своим Кирилой уже драпали где-то под самым Берлином.

И может быть, от чувства радости победы над врагом русококая и черноокая Наталка-Полтавка пересыпала свою исповедь шутками, смехом!

Пусть же будет она такой радостной, красивой и веселой всю жизнь!

РАССКАЗ БАБУШКИ ГАННЫ



а горою уже были наши! А фашисты удирали кто как мог: одни вскакивали на машины и мчались на запад, а те, что не успели попасть на машины, бежали напрямик огородами и прыгали через канавы, как собаки... А на другом конце нашей Диканьки, вижу, горят хаты. На мотоциклах, с зажженными факелами несутся мотоциклисты и поджигают дома. Полыхает пламя, ревет скотина... Страх один, да и только!

Слышу, все ближе грохочут ихние мотоциклы. Выглянула из погреба — ой, боже! — сюда пожар катится! Что делать? Как избавиться от беды? Думаю и убиваюсь, едва голова не треснет.

А что, думаю, если одурачить их, проклятых! Схватила охапку мокроватой соломенной трухи, притащила в хату, кинула на землю и подпалила. Пооткрывала настежь окна, двери, чтобы сквозняком продувало... И повалил дым из моей хаты! Через окна и через чердак повалил, сплошь всю ее окутал.

Принялась я тогда по соседям бегать. «Делайте и вы так же! — кричу на весь конец. — Иначе погибель!» И люди начали дымные костры в хатах разводить. Все улицы, подворья заволок такой дым, что и глядеть страшно.

Добрались те проклятые факельщики до нашего конца, увидели, что тут и без них «горит», и поудирали через гору.

А мы залили огонь водой, дым рассеялся, и хаты оста-

лись целы!.. Подмели их, проветрили, а через некоторое время встречали в этих хатах наших солдат-освободителей...

Этот рассказ записывал я из уст бабушки Ганны в ее хате, за столом, когда меня поместили к ней на квартиру в феврале тысяча девятьсот сорок пятого года.

Слушал я старую полтавчанку и думал, что, если бы половину Диканьки спасли от огня бойцы-партизаны, наверное, все они, и вполне заслуженно, получили бы награды.

— А когда пришли наши, вы рассказали обо всем этом командованию? — спрашиваю ее.

— Люди советовали, чтобы я пошла к генералу, да мне все некогда было: то с другими женщинами еду солдатам варила, то всю ночь белье им стирала да сушила...


Сказав это, бабушка Ганна открыла сундук, что-то там достала и подошла ко мне поближе:

— А это вот про меня в районной газете написали. Вы себе читайте, а я побегу, ведь я нахожусь на службе при райкоме, нужно все печи почистить и натопить за ночь.

...Когда я теперь читаю в газете или слышу по радио что-нибудь про Диканьку, в моем воображении встает образ бабушки Ганны. Я будто снова и снова слушаю ее рассказ о великой и простой народной мудрости.

«А ВСЕ ЖЕ МОЕ ВЗЯЛО ВЕРХ!»

(Из рассказов деда Герасима)

 ромы войны катились все дальше на запад, когда мы встретились с ним в поле, около вагончика механизаторов. Веселый, быстрый.

— Тракторами,— говорит,— командую. Мой внук тут за бригадира, а я контролирую, чтобы хлопцы вставляли по часам на смену. Да еще за горючим и за всякими инструментами присматриваю.— И показал нам областную газету, а в ней большое фото передовой в области бригады. На снимке, среди молодых широкоплечих парней, и он, старенький бригадный сторож.

...Дед Герасим! Сколько веселых историй из жизни слышал я когда-то от него — и в поле, и около мельницы, и у кооператива! Свои воспоминания о нем я пронес от сталинградских руин до родного села. И думал, живой ли он, мой земляк,— неутомимый сеятель народного юмора, простодушный труженик, в сердце которого столько неистощимой жизнерадостной силы.

А он живой! Сгорел его сад, нет хаты с мальвами, нет мельницы, не выдержали столетние тополя — рухнули от вражеской бомбы.

А дед-черноморец выдюжил! Зарабатывает себе трудодни, новую хату с фронтоном ставит, косарям на покосах косы правит. А по вечерам рассказывает людям, как обдуривал фашистов, полицаев, как выкручивался, чтобы «все же его взяло верх».

И ниже я предлагаю уважаемым читателям несколько таких рассказов, записанных с его слов в моем родном краю.

Бугаи

— Стадо мы отправили гоном в тыл, а два племенных бугая попали в оккупацию — вагоны были заняты боевыми припасами. Двадцать километров от станции вел я их назад в село. Добрался домой уже ночью и запер у себя в сарае.

Фашисты уже были недалеко. Посоветовались мы со старухой и решили, что будем, сколько сможем, за бугаями смотреть и прятать их.

В степи, за яром, между кустов боярышника, уже давно стояла полуразрушенная хата. Когда-то там жил Василь Гук, уехавший лет пятнадцать тому назад «на землю» куда-то в Тургайскую область. В этой самой хате мы и решили спрятать бугаев. Подкопали в середине хаты землю на метр, сплели ясли, обложили стены хворостом... Зашел я с одной стороны, посмотрел — не видно, зашел с другой — кусты, да и все тут. Неподалеку, в поле, заготовил сенца и уложил в копенки. Немного подальше был наш маленький прудик.

...Уже и зима пришла. Настали морозы, метели. А я все равно каждую ночь шел на свою «ферму». Еще, бывало, только подхожу, а мои питомцы уже мычат мне навстречу.

— Цыть,— говорю,— а то и с вас и с меня шкуру дерут немкам на ботинки!..

Дам им из корытца соли полизать, напою, натолку в ясли сена, выведу немного погулять, запишу себе трудодень на стенке — и, крадучись, назад.

Все шло ничего. Но как-то весной, на рассвете, эти проды все-таки подружились, куда я хожу. Только накормил бугаев, смотрю, подходят четыре фашиста. Один из них,

видимо, разбирался в скотине: узнал, что бугаи ихней, немецкой породы, и как закричит:

— Гут! Симментал! — подошел и стал хлопать бугая ладонью, гладить, вроде «родича»... Да скотина, возможно, тоже чужака чувствует. Оглянулся искоса бугай — да как треснет «родича» копытом, тот аж об стену ударился.

— Не подходите, — говорю, — пан, а то еще раз ударит!

Тот держится за бок, а остальные смеются. А потом, слышу, говорят, что такие бугаи очень понравятся их коменданту, у которого своя ферма. Видно, решили сделать ему подарок.

Подзывают меня и мимикой объясняют, чтобы отвязывал бугаев.

Сбросил я с них веревку, выпустил. А они, мои бугаи, не только что застоялись, а даже, можно сказать, одичали. И когда я выпустил их на волю, задрали хвосты трубой и начали брыкаться.

Обошли их солдаты кольцом, чтобы гнать по этапу, да куда там! Замахнулся один прикладом, а мой Красавчик начал рыть землю, засопел — и в атаку! С первого прицела зацепил ефрейтора рогами за штаны, крутнул над головой и подкинул вверх.

Только тот брякнулся на землю, Красавчик бросился на другого. А второй, вероятно, был спортсменом: задал такого стрекача, что бугай уже вскачь пустился за ним, а догнать не может. Но не бросил погоню! Припер его к пруду и загнал по пояс в воду. Оба встали и смотрят друг на друга: тот из воды боится выйти, а бугай в воду лезть не хочет.

Побежал я туда. Отгоняю бугая, тяну за рога. Хочу, чтобы видели, что я не только хихикаю, а и спасать взялся. Немного оттяну Красавчика, а он круть — и снова к берегу. Возможно, больше всего его раздражала громадная фрицевская фуражка.

У другого бугая, по кличке Князь, была более короткая стычка: загнал двоих на вербу, стоит под ней и чешется. А они с вербы кричат мне, угрожают, показывают, чтобы гнал скотину в село. И все злее да лютее становятся.

Одним словом, вижу, дело дрянь. Могут и пострелять бугаев. Взял я корытце, из которого соль давал им лизать, и забарабанил по днищу, а мои быки — бегом ко мне. И пошли за мной следом в сторону села...

Оглянулся я уже из-под горы и увидел такую картину. Те двое слезли с вербы и спешат к пруду, а «спортсмен» их как торчал в воде, так до сих пор и торчит и все покачивается: сапоги застряли в размокшем иле и он не может вылезти... Дружки дали ему совет, и он, разувшись, выдергивал и выбрасывал сапоги на берег...

Да что мне за дело до их драных сапог, когда надо мной беда нависла! К моему двору подъехал на машине комендант, оглянул симменталов и сказал двум солдатам, что поручает им завтра отвезти бугаев к нему на ферму. А мне погрозил кулаком: берегись, мол, а иначе — капут!

И я, сказать правду, больше ничего не мог сделать. Да и страшно стало после таких угроз. И вдруг...

И вдруг среди ночи на дороге взревели ихние громадные машины. То ли какая-то другая часть двигалась куда-то, то ли еще что. Машины взревели, загрохотали и стали. Солдаты побежали по хатам, чтобы успеть до рассвета поест. Некоторые загоняли машины прямо во дворы. В мой двор тоже две машины вперлось: перемесили все подворье колесами, ворота свалили. Пожрали, понакидали пустых консервных банок, выпили, не спросив разрешения, два моих глечика кислого молока. И уехали...

И тут у меня появился один секретный план, как спасти бугаев. Тихонько рассказал своей бабке план, а она в плач. А потом говорит:

— А может, и правда так сделать?..

Поднялся я, быстро оделся, накинул веревку на бугаев — и в дорогу!

За другой горой, на хуторе Заячьем, в четырех километрах от нас, жил мой кум Терентий Кукало. У него были хорошие повети, сарай. Вот к нему я и отвел своих питомцев.

— А что же ты завтра коменданту скажешь? — забеспокоился кум.

— Скажу, что вчера ночью бугаев связали и забрали на машины те разбойники, что приезжали. Вернусь от тебя и сразу до рассвета побегу в комендатуру, подниму тревогу...

На печи лежал внук Терентия, Максим, закончивший до войны семь классов. Слушал он наш разговор, а потом засмеялся и говорит:

— А я вам, дедусь, напишу расписку на бугаев по-немецки! Я же и говорить, и писать по-ихнему немного умею. В школе все годы «отлично» имел!

Он вырвал листочек из какого-то немецкого календаря и по-немецки бойко написал:

«Герр комендант!

Этой ночью я забрал ваших быков солдатам на мясо! Хайль Гитлер!

Командир Ганс Клюге».

Когда я утречком передал коменданту через дежурного эту писульку, он вылетел из кабинета и на мотоцикле примчался ко мне во двор. И закричал на мою бабу:

— Где быки?

А старая с перепугу в слезы:

— Так жалко их, так жалко! Поскручивали им ноги проволокой и вдсятером на машины покидали!..

Комендант лупнул глазами на следы от колес грузовиков и уехал...

А бугаев моему куму Терентию тоже пришлось кому-то еще перепоручить. А все-таки спасли!

Много было и хлопот и страха. Да черт с ним! А все же мое взяло верх! — закончил свой рассказ старей.

А потом уже спокойно добавил:

— Вот будет стадо с поля возвращаться, и вы увидите и Князя, и Красавчика!

Кресты

— ...Доходили до нас слухи, что на Днепре идут большие бои. Видимо, здорово наши солдаты молотили гитлеровцев, если как-то утром согнали нас на выгон и давай допытывать, кто из нас плотническое и столярное дело знает, кто умеет делать кресты.

— Есть такие? — спрашивают.

— Есть! — говорю. — Чего же... раз такая нужда большая, то это можно!

Вышли со мной еще два старичка.

Дали нам ихние солдаты топоры, пилку, гвоздики. Смотрю, несут нам какие-то сосновые столбики, чтобы из них тесать кресты.

— Что вы, — говорю, — принесли? Разве это материал? На такое дело нужен берест или дуб. И не такие куцые, а длиннее дерево давайте, чтобы мои кресты аж в Берлине видно было! Может, — говорю, — кому-нибудь из ваших удастся живым назад бежать, вот по крестам и путь держать будете!..

Сосед моргает мне: мол, не очень-то болтай, а то плохо будет.

— Они же, — говорю, — по-нашему ни бе ни ме... — А про материал все-таки допетрили. Натаскали дуба да бересту. И пошла у нас, старичков, работа вокруг этих крестов.

— Скажите, пан, а какая все-таки норма будет? — спрашиваю.

— На сегодня, — говорит, — тридцать пять крайне необходимо! Поняли?..

Как взялись мы в три топора, как налегли и... сорок

штук отчекрыжили. Весь штаб обложили крестами и при-
шли сдавать работу.

— Ну как? — вытаращил шарики комендант.

— Не беспокойтесь, — говорю, — за нами задержки не
будет! Сорок штук готовы, да еще такого качества, что
если даже корова почешется, так и то не свернет!

— Вы что, и лишние сделали?

А дед Матвей из-за моей спины отвечает:

— Да это мы, пане, уже на завтра заготовку делаем.
Может быть, и понадобятся...

На другой день пятьдесят штук натесали.

И тут — солнце уже садилось — началась такая исто-
рия.

Откуда-то чуть ли не с самого фронта влетела во двор
машина. Из нее выскочил приземистый итальянец и начал
укладывать кресты на машину. Мы себе помалкиваем, ка-
кое нам дело? Носил он, сопел, штук сорок уже взгромоз-
дил... Но вдруг заскочила во двор другая машина: немец
за крестами прилетел.

Глянул, что ему меньше осталось, и давай тянуть у
итальянца. Тот к нему: «Не бери!» А немец тянет; тот сно-
ва: «Не бери!»

Тогда я подморгнул итальянцу: «Что ты, мол, с ним
церемонишься? Что же ты за вояка после этого?»

Схватил итальянец крест и как лупанет немца пониже
поясницы! И пошла война! Бросили кресты и лупят друг
друга кулаками. Надулись, как индюки, и кто кого...

— Что вы, господа, затеяли? — кричит дед Матвей. —
Поверьте нам, что крестов на всех хватит!

А я — дерг его за рукав. «Не сбивай, — говорю, — инте-
ресно же, чья возьмет — итальянская или немецкая?»

Смотрим, а на шум через огород бежит взвод итальян-
цев и немцев. Прибежали и давай каждый своего защи-
щать: уцепились за нашу продукцию, и началась такая
битва, что только погоны, козырьки да нашивки вверх
летели.

Прискакал на эту оказию ихний начальник. Крикнул: «Хальт!» Выстроил их и начал всем по ранжиру морды бить.

Успокоил всех, а тогда к нам обратился:

— Что тут случилось и почему? — вы же, мол, свидетели.

И тут я сделал промашку, ляпнул, что моргнул итальянцу: «Что же ты с ним церемонишься?» Думал, что начальник сам итальянец.

— Так это ты, — кричит, — подначил! Ком! Ком!..

И повели меня в полицию. Стали подозревать, что я какая-то большая птица. Начали меня в международные дела запутывать. За бороду дергают, не приклеена ли она. Повели на допрос. Начальник зажмурил один глаз и сердито спрашивает:

— Ты Муссолини знаешь давно?

— Нет, — отвечаю, — таких родичей у меня, слава богу, нет.

Втолкнули в холодную, пригрозили, что завтра при людях будут меня карать. Да помереть мне не дал, спасибо ему, командир красной кавалерии Наумов. Налетел ночью и так их молотил, что они все разбежались кто куда. А некоторым и кресты наши пригодились. Пришли люди еще до рассвета и выпустили меня из холодной. Того, что допытывал меня, я после этого и не видел, наверное, удрал куда-то. Домой пришел я совершенно измученный. Да черт с ним! Что бы там ни было, а все же мое взяло верх!

Пчелы

— Грабили гитлеровцы наших людей и днем и ночью. Некоторые из них, как спесивые гусаки, набрасывались на лари да сундуки, а другие, как хорьки, шастали по курятникам.

Кто-то, видно, донес им, что есть у меня пасека. И вот как-то утром заходят. Один, видимо, немец, второй —

итальянец, а третий — шут его и разберет, что оно такое, только голова у него как перевернутая вверх дном макитра.

— У тебя есть пчелы? — спрашивает немец.

Я круть, верть...

— Пчела, — говорю, — это такое существо, пан, что вот она есть, а вот уж ее и нету.

Он как рявкнет:

— Не болтать! Комендант приказал доставить пасеку в штаб!..

Что было делать?

Иду с ним за хату. Беру один улей, немец — второй, итальянец — третий, и несем мою арестованную пасеку к коменданту. Подождите, думаю, я вас, кажется, почествую. Вот же, говорю, было рано, и пчелы мои еще не расшевелились. Идем. Вдруг вижу — что такое? Вокруг нас люди хохочут: один из-за тына выглянет и засмеется, другой из окна посмеивается. Оглянулся я и увидел, что тот неизвестный большеголовый служака схватил будку моего пса Серка, держит ее впереди себя и тащит вслед за нами, аж постанывает. Видимо, думал, что четвертый улей захватил.

...Приводят меня в штаб. Смотрю, в уголке сам комендант сидит. Прищурил глаза и какой-то ременной бляхой по животу себя хлопает. Картуз у него на голове — хоть квочку в него сажай. Около стола всякое мелкое начальство вертится.

Те, что привели меня, вытянулись в струнку, пристукали каблуками, что-то три раза гавкнули и вышли.

Комендант встал из-за стола, причмокнул губами, облизнулся и, слышу, лепечет своей свите, что, мол, сейчас мед есть будем. Видно, был он сыном какого-нибудь городского промышленника, иначе не сделал бы такой глупости.

Показал пальцем на ульи и скомандовал мне:

— Открывай!

Другие, может быть, и знали, что делается это не так, но не посмели и пикнуть. Раз комендант сказал — молчи, а иначе и зубов своих не соберешь.

— Тут,— говорю,— пан, еще пчелы. Вот солнце поднимется, и они улетят в окна...

— Какие пчелы? Что для меня пчелы? — и топ ногой. Хотя ты, думаю, и очень храбрый, да гляди, чтобы тебе не пришлось в этом штабе на стену лезть...

А он с разбега — трах сапогом... Разбил один улей, другой, третий. Пчелы — жжу-жжу, тучей.

В одно мгновение облепили лицо коменданта, как соты... Он как ударит ладонями себя по лбу! Да где там отбиться, если штук сорок уже шею хомутом обсели. Он хватить себя за затылок, а они его жалят в то место, где штаны трещат. Как он затопчет, как задрывает ногами. Смотрю — ну чистый тебе гопачок получается.

Помощнички, что вертелись около него, рады бы, конечно, выручить начальника, да не до него им, сами на четвереньках по хате ползают и только ногами дрыгают.

Кинулся было один к двери, а тут как раз от ульев новая туча надвигается — он назад...

А мне и смешно и страшно: комендант на моих глазах раздувается, как резиновый, голова уже как сито, шея на погоны лезет. Глаз уже и не видно. На морде только кусок носа торчит, похожий на шампиньон. Крутился он, крутился, а потом лег и начал боками об пол чесаться. Вот тебе, думаю, мед, да еще ложкою!

Нет, думаю, так мне это не пройдет. Метнулся во двор. А там караул — лоботрясов пятнадцать.

— Что вы,— кричу,— торчите тут в такое грозное время? Ваш пан комендант скоро богу душу отдаст, так разбухает, что, пожалуй, и в дверь нельзя будет протащить...

Влетели караульные в хату — и врукопашную. Сначала касками пчел отбивали. Да видят, это не выгодно, самих загрызают. Надели каски на головы и давай дубасить воздух прикладами. Как будто получше пошло дело.

Один из них, у которого уже под глазами «гули, как цыбули», то ли не доглядел, то ли еще что, — как стукнет ефрейтора прикладом по крестцу — тот только зубами щелкнул.

— Осторожно, — кричу, — господа, ведь так и окна можно повыбивать!

Эге-ге! Смотрю, а во дворе целый гарнизон собрался. По улице несколько человек волокут брандспойт от мельницы.

Жалко мне стало моих бедных пчелок. Выбежал во двор и посткрывал окна. А они, мои пчелки, как полетят рой за роем, на солнце и — в поле, цветочки искать.

Думаете, на этом все кончилось? Нет. Пчела, куда бы она ни залетела, а в свой улей непременно вернется. Только комендант немного в себя пришел, только за столом расселась его канцелярия, как пчелы начали назад слетаться. Увидев это, фашисты схватились за картузы — и драпать.

И что вы себе думаете? Дня четыре не давали им покоя мои пчелы. Гудят над штабом, осаждают — и никаких.

Штаб был вынужден перебраться в другой конец села. Облили фашисты ульи керосином и сожгли. Дней пять я прятался, а потом меня все-таки изловили и потащили в полицию, на допрос.

Начали спрашивать, как зовут, то, другое.

— Скажи, — спрашивает начальник, — сколько пчел было в твоих ульях?

— Ей-богу, — говорю, — не знаю, разве я их считал?

— Бреешь! — кричит. — Пан комендант утверждает, что было их не меньше сорока тысяч.

— Ну раз они, мол, так утверждают, то, значит, это истинная правда, ведь им виднее...

— А какое у тебя имущество?

— Так что теперь, — отвечаю, — остались мы со старухой, да Серко еще остался. Была, правда, с неделю тому назад еще коза, да и ту в Берлин угнали.

Потаскал он меня за волосы, подсыпал пинков, а потом еще в холодную на десять суток посадил.

Да черт с ним! Что бы там ни было, а все же мое взяло верх!

Паспорт

— Вьюжило так, что света божьего не видно. А я добирался с хутора Заячьего от кума Терентия, того самого, которому бугаев оставил.

Шел степью, шлепал по снегу, и на тебе — зацепил ногой за какой-то провод, давший сигнал.

Только поднялся, только обтрусил полы одежды да бороду, как слышу:

— Стой!

Глянул — подходят три эсэсовца с винтовками. Рассказал им, откуда и куда иду. Видно, говорю, заблудился из-за этой завирюхи.

— Паспорт! — кричит один. — Паспорт!

Что же, думаю, делать? Никаких документов у меня не было, если не считать паспорта на племенного колхозного жеребца. Звали этого жеребца в артели Македонский. Когда началась война, я сам отвел его в дивизию и отдал командиру, а паспорт спрятал тогда в шапку под вату, да и носил его при себе.

Вижу, немцы по-нашему еле-еле языком ворочают. Дай, думаю, рискну. Достал из шапки тот конячий документ и подаю.

Один взял, долго смотрел, по одной буковке складывал.

— Македонский? — спрашивает.

— Да, — подтверждаю, — Македонский, Герасим Кондратьевич!

«Хоть бы, — думаю, — дальше не читали, а то там такие пункты идут, для которых я никак не подхожу».

А они дальше начали сверять пункты с моей фигурой и приметами.

— Передние ноги в белых чулках,— с трудом читает этот грамотей.

— Вот именно,— говорю,— в чулках. Только позавчера старуха связала,— поднял штанину и показываю.

Так что в этом пункте все сошлось. Ну, думаю, вроде бы выкрутился. А он снова буркалы в паспорт.

— Масти серой в яблоках...

Ну, относительно «серой масти» они поверили; я, как видите, сивый, а вот насчет «в яблоках», так началась целая морока.

— Это,— говорю,— был у нас сад в колхозе, и там я каждое лето сидел в яблоках. Людей ими угощал да на зиму сушил. Поэтому и написано: «Серый и сидит, значит, на старости лет в яблоках». Так, говорю, профессию мою записали.

Втолковывал им и на словах и мимикой показывал. Смотрю, дальше читает:

— Принимал участие в соревнованиях на ипподроме!..

— Это правда? — спрашивает.

— Истинная правда. Особенно,— говорю,— когда помоложе был. Так, бывало, насидишься под этими яблоками за неделю, что в выходной день как вырвешься на ипподром, так никто и догнать не может. Большую силу имел я тогда в ногах от этих яблок.

Одним словом, вы же понимаете, болтал, что на язык лезло, до тех пор, пока они не озябли на морозе.

— Ну, ладно,— сказал один.— Теперь снимай свои чулки и цурюк.

Иду я в старых сапогах на босу ногу и проваливаюсь в сугробы снега.

Дошел до села, а навстречу немецкий обоз. Остановили меня и захотели снова документы проверять. Да тут уж мне не повезло. Посмотрели они паспорт, поняли, что это брехня, взяли меня под конвой — и в полицию.

Тот, что меня вел, подошел к комендантской канцелярии, отдал туда паспорт Македонского (взгляните, мол,

как обмануть хотел!) и сказал, что передает меня старшему полицая.

Полицай ощупал мои карманы, погрозил кулаком, показав, что расправится со мной по-немецки, чтобы лишних хлопот ему не устраивал.

Сижу я день в холодной, второй. Никто не допрашивает, и никто есть не приносит... Сижу голодный как волк.

На третий день открылись двери, и два здоровенных немца со всей силой швырнули ко мне в компанию — кого бы вы думали? — того же старшего полицая. Видно, дали ему хорошо прикурить, аж посинел весь; я молчу, а он сопит и смотрит на меня.

— Чего ты усмехаешься? — спрашивает.

— Рад гостю, вдвоем-то все веселее. Выходит, дослужился! За что же они тебя так разжаловали?

— За жеребца.

— За какого жеребца?

— Да за какого-то Македонского.

И послушайте, что только вышло. Когда попал этот жеребиный паспорт в канцелярию коменданта, то там, видно, передали его какому-нибудь писарю, а тот, возможно, записал, что прибавился на хозяйстве жеребец и что передали его под опеку старшего полицая. Через два дня комендант приказал подать ему рысака. А коня нет как нет.

— Где жеребец?

Полицай заявляет, что ни сном ни духом не ведает. И давай немцы его лупцевать за то, что он, мол, сам украл Македонского, да и швырнули ко мне. Не прошло и часа, как зашли в холодную сам комендант с резиновой палкой и два его здоровенных помощника с дубинками.

— Где жеребец Македонский?

— Не было такого жеребца, — клянется полицай и плачет.

— Как же, — говорю я, — не было? Жеребец Македон-

ский, серой масти, в яблочках, передние ноги в белых чулках, принимал участие на ипподроме, был такой.

— Точно по паспорту, точно,— говорит комендант.— А ты кто и почему здесь?


— Местный,— говорю.— Без документа пошел в степь сушняк собирать, и вот затащили сюда.

— Выходи! — кричит.

А полиция снова взяли под ручки и повели выпытывать, куда же все-таки девался Македонский...

Намерзся, наголодался я в этой холодной, аж в глазах темно. Да шут с ним. Что бы ни было, все же мое взяло верх!

ТЕТЯ ШУРА

ад приволжскими степями гуляли холодные ветры. Временами падал снег, переходящий в мелкий слякотный дождь. Но не только от непогоды на душе было так тяжело. Вчера утром объявили по радио, что фашистские орды вторглись в Ростов. В осеннем небе все нахальнее сновали их черные вороны: сбрасывали бомбы на степные станции, обстреливали дороги, по которым шли и ехали на восток сотни беженцев.

Помню, в один из таких тревожных дней тысяча девятьсот сорок первого года зашел я по делам редакции (я работал тогда в газете «Сталинградская правда») в областной комитет партии.

О том, что я там увидел, что сильно взволновало меня, и хочу рассказать.

В длинных обкомовских коридорах, вдоль стен, сидели, прижавшись друг к другу, худые, оборванные дети. Девочки и мальчишки. Сидели тихие, усталые. Только иногда звенели их голосочки:

— Тетя Шура, я хочу воды...

— А куда нас повезут, тетя Шура? — спрашивали они у двадцатилетней белокурой девушки, что хлопотала около них, как родная мать. По тому, как жались к ней дети, какими глазами смотрели на эту крайне утомленную девушку в ватной куртке и в старом шерстяном платке, было видно, что тетя Шура для них — наивысший авторитет, единственная их опора и надежда.

— Валерик! Кому я говорила не заглядывать в двери! Ты слышишь, Валерик! — раздавался голос Шуры.

Дети есть дети: обогрелись, отдохнули и некоторые, наиболее юркие, начали играть, заглядывать в кабинеты. А деток этих — около двухсот! Разве углядишь за каждым? Вот и приходится покрикивать на них голубоглазой Шуре.

Возле лестницы, где начинался коридор, стояла секретарша приемной и всем, кто заходил, говорила одно и то же:

— Никто никого сегодня не принимает, все секретари и весь аппарат занимаются детьми...

Откуда они, как сюда попали, как зовут каждого мальчика и каждую девочку, знала только Шура. В одном из районных центров, под Ростовом, она работала воспитательницей детского дома. Время было тревожное. Фронт подступал все ближе. Местные руководители еще в теплую погоду вывезли детский дом в небольшой лесок за семь километров, в фанерные домики, где раньше каждое лето размещался пионерский лагерь. Вывезли, чтоб не слышали они завывания бомб...

А двадцать пять дней тому назад, когда фашисты ночью прорвались почти до их райцентра, эти местные руководители куда-то удрали, бросив на произвол судьбы и детей и воспитательницу комсомолку Шуру. Три бабуси-поварихи, поплакав над детьми, прекратили работу и ушли в свои села. И Шура осталась с детишками одна.

На горизонте в темноте взрывались красные сполохи, слышался грохот орудий, рокотали машины, стонала степь.

Что ей делать? Как сберечь детей, себя? Сначала решила вести их в соседние села и раздать по хатам солдаткам. Так и сказала своим воспитанникам:

— Разведу вас по людям, запомню, где кого оставила, сама же пойду через степи на восток. А там — как освобо-

дятся наши края от врага — всех вас найду и заберу. Вы слышите, дети!..

Но дети слышать этого не хотели. И старшие и малыши, горько плача, окружили свою тетю Шуру тесным кольцом и, не сводя с нее глаз, голосили:

— Мы пойдем с вами! — и хватались ручонками за ее платье, за руки.

...И они пошли с ней, со своей единственной мамой.

От станицы к станице, через донские степи двадцать четыре дня вела их до Волги комсомолка Шура. Сквозь холодные ветры, злой осенний дождь метр за метром все дальше и дальше уходила она с детьми.

В одном колхозе готовили им завтрак и уже звонили в другой колхоз, в соседнее село, километров за десять — двенадцать, чтобы там люди встречали их обедом.

Вот так и шли маленькие беженцы. Все дальше и дальше...

Что они пережили, сколько перенесли всяких бед на своем трехсоткилометровом пути, как болели их ножки, сколько раз прятались, как мышата, в канавах да бурьянах, когда в небе гудели бомбовозы, — все это даже трудно себе представить!

Где-то на полдороге, когда их разместили на ночь в хатах артели имени Калинина, к Шуре подошел недавно избранный председатель Андрей Петрович. Как и большинство хлеборобов-степовиков, был он, спасибо ему, человеком мягким и добросердечным.

— Вот что, дивчина. Восемь ребят у тебя, вижу, совсем крошки, а идти вам еще ой как далеко...

Андрей Петрович замолк на минуту и отвернулся. Глядя в окно, заговорил о чем-то другом. А потом продолжил:

— Ты их или оставь у нас, или я дам вам коня, и наиболее слабых посадишь на подводу.

— Спасибо! Возьмем коня! — обрадовалась Шура. — Теперь нам будет намного легче...

И в степи впереди детской колонны застучала подвода.

Вороного коня дети сразу полюбили. Назвали его Орлом и, где попадалась по дороге какая-нибудь травка или пучок сена, подбирали и несли своему Орлу, который честно тянул за собой по восемь, а иногда и по двенадцать маленьких беженцев.

На двадцать четвертый день под командой тети Шуры истомленные и измученные сироты завершили долгий и поистине тернистый путь. Привязали к клену, у тротуара, Орла и зашли с тетей Шурой в белое здание обкома. Тут им было тепло и уютно, как другим детям в отцовской хате. Согрелись, отдохнули и вот уже начали играть.

А в кабинетах звонили телефоны:

— База? Что у вас есть из детской одежды? Пальтишки есть? Немедленно грузите на машину и везите в обком.

Некоторые склады, базы, магазины прислали все, что было: ботинки, белье, теплые платки, шапки...

Пока сотрудники и сотрудницы аппарата переодевали детей, первый секретарь областного комитета Алексей Семенович Чуянов уже распорядился, куда везти и где размещать детей. За Волгой, в городе Ленинске, в двухэтажном доме для них уже варили еду, топили печи, застилали кровати.

И вот, одетые во все новенькое, возбужденные, вышли дети на улицу, где их ждали четыре грузовых машины и привязанный к клену Орел.

И вдруг дети расплакались. Сначала лишь некоторые, а потом и все завсхлипывали.

— Перестаньте! Как вам не стыдно! — успокаивала Шура.

— Чего это они?

— С Орлом жаль расставаться, вот и плачут, — сказала, усмехнувшись, Шура, да и сама вытерла слезу.

— Подождите! — сказал один из провожающих.

Вернулся в дом и позвал какого-то человека в полушубке и шапке:

— Садитесь на этот воз и поезжайте на переправу. Доставите коня и подводу в Ленинск, там вас подождет один грузовик.


Дети сели. Заработали моторы...

— Счастливой вам дороги! До Ленинска и в жизни!..

Девочки и мальчики замахали руками.

Следом за машинами затрусил Орел, загромыхала подвода. На переднем грузовике в теплой солдатской шапке и в новенькой шинели стояла белокурая донская казачка, комсомолка Шура.

**МОЙ ПОПУТЧИК
АРКАДИЙ СОЛОМОНОВИЧ**

 **Д**вугуст 1941 года. Стою на станции Куберле и жду поезда. Вот и одиннадцать часов прошло, а на горизонте — ни дымочка, ни гудочка. По перрону прохаживается распаренный солнцем, в большой красной фуражке, дежурный.

— Пока что ничего неизвестно! — вот и весь его ответ.

Смотрю, к дежурному спешит еще один пассажир — быстрый, суетливый старичок с бородкой. Подбежал и прямо с ходу, как из мешка, сыпанул словами:

— Здравствуйте, товарищ начальник! Вы, безусловно, бывали в Кишиневе, у вас же проезд бесплатный. И я уверен, что вы, товарищ начальник, заметили там на центральной улице, около аптеки, нашу знаменитую на всю Бессарабию типографию... Как? Вы не бывали в Кишиневе?.. Ну, так как раз именно там я проработал наборщиком тридцать лет!

— Скажите, что вам нужно, гражданин? — перебил хмурый дежурный.

— Сейчас я все расскажу. Вы, безусловно, хорошо знаете, товарищ начальник, вашего районного редактора Кондрата Андреевича Твердоступова... Неужели не знаете?.. Одним словом, товарищ Твердоступов вызывает меня из Куберле к себе в Орловку. И вы, вероятно, догадываетесь, зачем вызывает: видимо, слышал, что кишиневский полиграфист Аркадий Соломонович уж как что-нибудь наберет, или сверстает, или возьмет на шпоны, то будьте уве-

рены!.. Я вас очень прошу: посоветуйте, товарищ начальник, как добраться в Орловку, где меня с утра дожидается товарищ Твердоступов?

Пока дежурный обдумывал ответ, подошел и я поближе — ведь мне ехать туда же...

— Вон на четвертом пути стоит порожняк. Через пять минут я его отправляю. Пристройтесь там где-нибудь и поезжайте... — буркнул дежурный.

— Спасибо, товарищ начальник! Может быть, вы разрешите передать от вас привет товарищу Твердоступову?

Дежурный только махнул рукой и ушел. А старичок обратился ко мне:

— Значит, и вы в Орловку? Так я уж, будьте добры, вместе с вами, — сказал, резко обернулся и крикнул в сторону пристанционного скверика, где стояли его седая жена, невестка и трое маленьких внуков: — Фира! Мне повезло! Еду порожняком. Вот молодой человек тоже туда, — показал на меня. — Передай Ицику Файнштейну, что не позже шести я привезу результат!..

И мы с ним поспешили на четвертый путь. Но как сесть? Вагоны все, как на грех, длинные пульманы с высокими железными бортами. Ну, я, допустим, могу подпрыгнуть, вцепиться и подтянуться. А как он, мой старенький попутчик?

— Знаете что, — говорю, — папаша, спрячьте свои документы за пазуху, а я вас посажу...

Присел, подхватил его на руки и поднял. Старичок уцепился за борт, перевалился через него и, слышу, шлепнулся на дно пульмана. За ним забрался и я.

— Будьте добры, — попросил тут же мой попутчик, — поднимите меня наверх на минутку, я помахаю внукам и крикну жене, чтобы она не волновалась...

Но я не успел исполнить его просьбу, так как поезд отправился.

— Большое вам спасибо! — улыбнулся Аркадий Соломонович.

И тут же начал доверительно рассказывать. О кишиневской типографии на центральной улице, которая около аптеки, как раз напротив магазина «Соки». О том, что он, как полиграфист высокой квалификации, хорошо зарабатывал, имел свой домик, садик, а теперь из-за проклятого Гитлера вынужден валяться на станциях, искать работу, приют. А потом спохватился и добавил:

— Может быть, вы сомневаетесь, так я покажу вам свои документы, грамоты, благодарности! — и он вытащил из-за пазухи большую пачку бумаг.

— Не надо! — крикнул я и придержал его руку. — Вы же видите, как поезд летит и какой тут свистит ветер, подхватит ваши бумаги и разнесет по донским степям!..

Поезд набирал скорость. Вагон уже так стучал, что мы не слышали друг друга. И Аркадий Соломонович буквально припал к моему уху:

— Сын мой на фронте. Со мной невестка и внуки. А наш сосед Ицик Файнштейн, с которым мы вместе эвакуировались, хочет из Куберле ехать дальше, куда-то за Волгу. Если орловский редактор имеет вакансию, то я останусь тут, а если редактор работы мне не даст, то поеду вместе с Ициком дальше. Одним словом, я должен сегодня привезти Ицику результат! — кричал он мне изо всех сил и все время спрашивал: — Вы поняли?..

Через минут сорок пульманы приблизились к Орловке. Я уже видел на горизонте высокий ветряк, здания...

Покричав друг другу, мы выработали точный план нашей высадки: я спрыгиваю первым, Аркадий Соломонович перекидывает ноги через борт, я ловлю его и ссаживаю на перрон Орловки; потом расходимся, я — в военкомат, он — в редакцию, после этого я прихожу за ним, мы где-нибудь вместе перекусим и поедem обратно...

Мощный гудок. Несколько резких толчков. Начали скрипеть тормоза. Поезд сбавил скорость. Я уже приготовился спрыгнуть и даже одну ногу перекинул через раму. Но что же это такое? Вижу, машинист схватил на ходу из

рук дежурного жезл... Сильно дернуло. Еще сильнее. И я сползаю назад в пультман. Все ясно! А Аркадий Соломонович еще не догадывался, в чем дело.

— Видите,— говорит,— как хорошо, что на этот поезд сели. Теперь я таки привезу результат Ицику,— сказал, а потом захлопал глазами.— Почему же он не останавливается?

— Дело дрянь, папаша! Поезд везет нас дальше...

— Что значит — дальше?

— Мы летим на всех парах на запад!

Прощайте и Куберле, и Орловка!

Промелькнул один полустанок, потом другой. Промелькнула станция, на которой я едва успел прочитать: «Куренная»... Я стою и переживаю, а мой Аркадий Соломонович топчется на месте.

— Мы сделали ошибку! — говорит.— Надо было дать машинисту десятку, он бы нашел причину для остановки!

А поезд летит и летит.

И, наконец, остановился. На каком-то степном разъезде. И, на наше счастье, вижу, стоит тут эшелон с эвакуированными, в направлении Орловки.

В одно мгновение я снял своего попутчика с пультмана и спешу посадить его на платформу встречного поезда. Но Аркадий Соломонович садиться побаивается.

— Подождите! — махнул он рукой.— Я должен точно знать, куда он идет, этот поезд. Я уже накатался! — и бросился трусцой вдоль платформы.

— Фур на Орловку? — спрашивает.

Люди разводят руками. Одни называют Саратов, другие Астрахань, а про Орловку они, скорее всего, и не слышали.

— Вы поняли? — кричит Аркадий Соломонович.— А вы еще агитировали меня садиться!..

Он бежит, а я — за ним, боюсь, что останемся. Наконец я чуть ли не силком затащил его в поезд.

Платформы тронулись и покатили. Мы сидим и гово-

рим с ним о том, что как бы там ни было, а все-таки нам повезло, пусть и позже, а все же будем в Орловке! Тем более что летим так, что только ветер свистит.

Не доехав километра полтора до Орловки, эшелон остановился. Стоит десять минут. Стоит еще двадцать.

— Может быть, пойдем потихоньку? — обращаюсь к Аркадию Соломоновичу.

А он уже устал, даже говорить стал меньше.

— Какой же смысл нам идти пешком! — говорит. — Пусть уж поближе подтянет, не век же ему здесь стоять...

Паровоз пофыркал еще столько же, выстоялся, а потом как рванул... И станция Орловка только промелькнула перед глазами. Летим назад, в Куберле, — и без всякого результата! Аркадий Соломонович сидит огорченный, двигает губами; видно, сам с собой разговаривает. Потом подвинулся ко мне и кричит:

— Может быть, вы скажете, зачем мне эта экскурсия?

Но самое неприятное еще было впереди. Паровоз наш, домчав до Куберле, только свистнул и полетел дальше, уже на восток, в сторону Волги... Железная дорога проходит через село. Вот проплывает перед глазами улица, и вдруг Аркадий Соломонович подскакивает. Хватает меня за плечо и показывает:

— Вон моя невестка воду несет!.. Соня! — и начал ей что-то кричать по-еврейски. Но невестка, видимо, не услышала...

Пролетели еще два перегона, остановились, и мы решили плюнуть на этот поезд и сойти с него. Сошли и сели в холодке за будкой. Грустные мысли не дают покоя — что же нам делать дальше? Окно будки открыто, и нам слышно, как дежурный этого степного разъезда кричит в селектор:

— Диспетчер, диспетчер! Я «Верблюды», я «Верблюды»!..

Я пошел к нему, все у него расспросил и узнал, что нам снова повезло: минут через пятнадцать будет идти сборный поезд на Куберле.

— Поверьте мне, я уже боюсь на них садиться! — чистосердечно признался Аркадий Соломонович.

Но на этот раз все вышло хорошо. Ровно в шесть часов вечера, как раз тогда, когда Аркадий Соломонович должен был сообщить Ицику результат, мы, усталые и голодные, ковыляли от семафора к перрону нашей станции.

Еще издали я заметил, что все семейство Аркадия Соломоновича здесь в наличии, дожидается своего дедуся: и старая Фира, и невестка Соня, и внуки; все, приложив ладони ко лбу, смотрят в ту сторону, где Орловка. С ними еще какой-то пожилой мужчина; возможно, тот самый Ицик.

Вдруг один из внуков обернулся и увидел нас:

— О! Дедушка! О!..

Все кинулись ему навстречу. Старая Фира всплеснула руками и что-то удивленно спрашивает: очевидно, не может понять, почему ее Аркадий приехал с другой стороны.

— Как результат? Результат?..

И Аркадий Соломонович, жестикулируя, засыпал словами:

— Какой, к черту, результат!.. Фур — Куренная, фур — Орловка — гугу! Фур — Верблюд, Куберле!..

И всем стало жаль старого человека; погладили его по плечу, взяли под руки и повели домой.

...Больше двадцати лет прошло с тех пор. А я до сих пор не могу забыть своего попутчика. За это время я знакомился со многими людьми, да, признаться, добрую половину из них забыл. А старого кишиневского полиграфиста — нет! Если он жив и если мне доведется побывать в Кишиневе, обязательно разыщу и проведаю Аркадия Соломоновича.

У нас с ним есть что вспомнить!

ВОЛОДЬКА



а крутом берегу Волги, между Камышином и Дубовкой, белеют домики степного местечка Балаклеи. Не знаю, как сейчас, а в годы войны было оно районным центром. Именно сюда весной тысяча девятьсот сорок третьего года приехал я с заданием редакции: написать очерк о хлеборобах.

И конечно, первым делом пошел на окраину райцентра в МТС, которая обслуживала десять колхозов, чтобы ознакомиться, так сказать, с общей картиной полевых работ.

Тут я и узнал об интересной истории, приключившейся четыре дня тому назад километров за двадцать от машинно-тракторной станции.

Героем этого приключения был четырнадцатилетний хлопец Володька.

Вместе с другими своими ровесниками-односельчанами Володька закончил к весне курсы трактористов. Ему бы еще в школу, в седьмой класс ходить, да разве хлопец мог тогда думать об этом? Отец на войне, у матери еще трое малых ребят, в семье Володька «самый старший мужчина»: надо работать!

Пришла весна, задымилась теплая земля, и его, юного, начинающего механизатора, вывели на тракторе ХТЗ в бескрайнюю широкую степь. Сделали ему шалаш для ночлега, оставили продуктов, кадку с водой, две бочки горючего, отмеряли делянку: паши, Володя!

...Овеянный степными ветрами, перепачканный мазутом и пылью, часов по шестнадцать не слезал он с трактора. Чтоб не скучать за рулем, Володька иногда занимался устными задачами, подсчитывая, сколько сот километров выйдет, если растянуть в длину все пласты, которые он уже перепахал многолемешным плугом. Или придумывал какие-нибудь другие задачи для развлечения.

Два дня все шло хорошо. А на третий, после обеда, трактор не захотел заводиться. Как ни крутил Володька заводную ручку, сколько ни присматривался и к карбюратору, и к аккумулятору, сколько ни перечитывал и конспект, и справочник — все напрасно. Через некоторое время все-таки сообразил, в чем загвоздка: бензин низкого качества, поэтому искра не может его зажечь. Если бы Володька имел «для заводу» хоть бы литр первосортного бензина, то подлил бы в карбюратор, и дело пошло бы. Да где его возьмешь? А из МТС никто не едет: или заседают, или поехали в другой конец района... Сказали, что будет наезжать передвижная мастерская. Да вот и до сих пор все едет...

Сидит Володька на пашне, горюет. Пойти в село? Но как оставить трактор, горючее, инструменты?.. Уже солнце спускается к краю неба, затих ветерок, в прозрачном небе снова защебетали птицы. Где-то далеко на Волге прогудел пароход, и эхо поплыло, покатилося по безмежной степной равнине. Сидит Володька, грустит...

Вдруг слышит, а потом видит — летит небольшой самолет. Летит низко. Вот-вот и над ним уже промчится. Володька не раз и днем и ночью наблюдал, как пролетали над его степью целые эскадрильи. И все туда — на запад, на фронт, на передовую! А этот как будто от группы отбился: летит один, летит низко, и такое впечатление, точно и не спешит...

«Вот у кого чистый бензинчик!» — подумал Володька. И так вот, в шутку, вскочив на крыло трактора, снял кепку и замахал в небо летчику: сядьте, мол, дядя и выручи-

те!.. Машет, разные знаки руками выделявает, развлекается.

Время было военное. И на земле, и на небе могли произойти всякие неожиданности. Поэтому летчик, заметив какие-то сигналы снизу, отнесся к ним со всей серьезностью. Он знал не один случай, когда и взрослые люди, и пионеры предупреждали воинов об очень грозной опасности... Покрутил Володька еще раз кепкой и со страхом увидел, что летчик лег на левое крыло и делает «заход» для посадки на его еще не вспаханное поле.

И Володьку встревожила мысль: что за самолет? Чей? По внешнему виду как будто наш. И что сказать летчику?

Когда «У-2» метров за триста от трактора уже приминал стерню колесами, хлопок соскочил на землю и, сколько было духу, начал улепетывать по пашне! Отбежал довольно далеко. Совсем запыхавшись, встал, оглянулся...

— Вот тебе и на! Просил в гости, а теперь удираешь, — насмешливо прокричал ему летчик, выйдя из кабины. — Слышишь, механизатор! Иди сюда, не бойся.

Переступая с ноги на ногу, Володька виновато возвращался назад. А когда подошел совсем близко, не удержался и заплакал:

— У меня, дядя, нет чистого бензина для зажигания, а трактор не заводится. Из МТС не едут, я вам пожаловался, а вы и сели...

— Ничего, сынок! Сейчас сделаем все, что нужно, сам когда-то на таком коне ездил...

Подойдя к хлопцу, летчик поздоровался с ним за руку, расспросил о родителях, сказал, что и у него дома есть такой же молодчага.

— Где твоя посудина, давай сюда!..

Нацедил полканистры авиационного. Помог завести трактор и, погладив Володьку по голове, ласково усмехнулся:

— Ну что ж, по коням, дружище! Тебе цоде пахать, а

мне везти дальше солдатскую почту. Да вот уже и вечерет...

Володька вел трактор бороздою, а рядом с ним, набирая скорость, пробежал по стерне и взметнулся в приволжское небо сизокрылый почтовый самолет. И, пока он не растаял на горизонте, Володька все махал ему вслед кепкой...

Вот про какую историю узнал я, заглянув в балаклевскую МТС. Об этой истории уже знало все местечко. Знали и в райкоме комсомола. И, как мне рассказали, комсомольский руководитель, не разобравшись в сути дела, сурово осудил поведение молодого комсомольца-тракториста: как, дескать, он смел в военное время сбивать с панталыку нашу авиацию!

— Завтра вздумаешь еще и бомбовозы на стерню сажать! — распекал райкомовец юного механизатора.

Наступил вечер. И на совещании в МТС я увидел Володьку. Самый юный из всех присутствовавших, сидел он в углу небольшого зала и стыдливо мям в руках свою синенькую кепку. Давно не стриженный, веснушчатый... Перебарывая сон, Володька не сводил глаз с директора, стоявшего на трибуне.

— Есть у нас такие, им все готовенькое подавай! Сами не думают, не мобилизуют местные ресурсы, возможности. Единственный, у кого голова варит, так это вон тот хлопчик Володька. Молодец! Захотел ликвидировать простой — самолет приземлил, а трактор все-таки завел! — бойко выкрикивал директор, как будто призывая всех механизаторов махать в небо картузами.

Совещание затянулось до поздней ночи. На нем стало совершенно ясно, что с пахотой в колхозах этой МТС дела были очень плохи. И на следующий день тот же вопрос встал на бюро райкома партии, где Володька в третий раз рассказывал солидным дядям, как он завел трактор.

Рассказал, и его отпустили.

А после возмущенный секретарь срамил директора язвительными словами:

— Значит, дохозяйствовался, да? А если бы летчик не приземлился, не выручил этого милого хлопчика, то дождался бы тракторист твоего внимания, твоей помощи? — и в таком духе с полчаса...

В день моего отъезда Балаклею облетела еще одна новость: вчера перед вечером тот самый крылатый друг сбросил для Володьки теплую фуфайку и новехонькую пилотку! Покружил, говорят, над полем, помахал Володьке крыльями и умчался над степью в неоглядную весеннюю даль.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ



амятное лето 1945 года! С запада на восток бегут и бегут поезда. На вагонах метровыми буквами выведены слова: «Мы брали Берлин!», «Мы освобождали Варшаву!», «От гвардейцев Кантемировской — привет Украине!» В окнах и дверях — пилотки, фуражки... Эшелоны идут и идут. Возвращаются воины-победители...

А на Украине поспели хлеба. Началась жатва. Стреко-чут в полях лобогрейки. Лишь изредка увидишь уцелевший комбайн. В руках измученных войной женщин — серпы, косы...

В эту самую пору приехал я из редакции в село Осычки на Кировоградщине.

Был уже вечер. Председатель артели, только что вернувшийся с поля, коротко рассказал мне о делах колхоза, о ходе жатвы.

— Поедем завтра в степь, там и поговорите с народом, все увидите.

И проводил меня на ночлег в хату к старикам, которые со дня на день ждали своего сына с войны.

И вдруг — стук в дверь, и взволнованный женский голос:

— Вставайте! Там в бурьяне Смоляной сидит! — крикнула и побежала будить других...

Хозяева встали, поднялся по этой тревоге и я. Зажег зажигалку, глянул — два часа ночи. За окнами — светлая

и тихая лунная ночь. А село уже пробудилось, волнуется, гудит. Мимо хаты в сторону колхозного двора бегут женщины, дети, на всех подворьях заливаются собаки.

— Что случилось? — спрашиваю хозяина, который тоже спешит уйти.

— Да вы же слышали: прислужник немцев Смоляной объявился!

Пошел и я улицей вслед за людьми. И то, что увидел, никогда не забуду.

Все село — от старого до малого — собралось во дворе: народ кипел гневом, потрясал кулаками, мотыгами, вилами.

— Где же он, гад? Где?..

— Сейчас приведут. Говорят, здесь в бурьяне прячется.

И, пока его ведут, я коротко расскажу вам о том, что смог тогда разузнать.

Как верный пес прислуживал Смоляной фашистам. Вместе с гитлеровцами глумился он над своими односельчанами. Выследив, что в соседнем селе жители укрывают партизан, он сообщил об этом эсэсовцам. Восемьдесят хат было сожжено.

И вот этот изверг объявился! Пойманный нашими бойцами где-то в Германии, прикинулся «невольником», и его сразу реэвакуировали на Украину вместе с теми, кто возвращался из фашистской неволи. Дали документ на проезд до места жительства. Тогда с таким документом каждый, кто ехал с чужбины домой, должен был явиться в органы местной власти. Махнуть в другие края Смоляной, следовательно, не мог: там его спросили бы, кто он и откуда...

Слышу, в толпе пожилая колхозница рассказывает подробности:

— На нашей станции Фундуклеевке побоялся, душегуб, сойти с поезда. На соседней еще днем слез. Прятался до вечера в хлебах, как волк, а ночью прокрался к дому племянницы Ульяны и постучал в окно: «Открой, Удьяна,

это я, твой родной дядя, Смоляной». А Ульянов Федор как раз в этот день из госпиталя на костылях пришкандыбал. Вышли они вдвоем из хаты и бросили в лицо предателю: «Иди, проклятый, прочь! Мы тебя знать не знаем!» И тогда он спрятался в бурьяне. Там его и увидели...

— Ведут, ведут! — зашумели в толпе. Вверх поднялись вилы, мотыги. И все кинулись к воротам.

— Люди! Вы слышите, люди! — кричал председатель. — Не вздумайте самосуд учинять. Сейчас приедет из района начальник отдела Госбезопасности. Смоляной понесет наказание, но перед этим должен будет рассказать органам власти все, что им необходимо знать. Вы слышите?

Шестнадцать молодых вооруженных хлопцев провели в двери конторы седоватого мужчину с низко опущенной головой.

— Дайте его нам! К нам, сюда, толкните его! — кричали женщины.

Предатель понуро переступил порог конторы, пошарил глазами и, увидев в углу около двери колхозного сторожа деда Матвея, процедил:

— Добрый вечер, дядя Матвей! — и намеревался было протянуть деду дрожащую руку.

— Скройся с глаз! — сплюнул дед и отвернулся.

Опустился Смоляной на стул возле стола. Помолчал. Тяжело вздохнул. А потом попросил:

— Дайте, пожалуйста, воды.

Председатель обратился к деду Матвею:

— Зачерпните ему вон той кружкой...

А в окна летят выкрики и гневное требование:

— Не давайте, не давайте ему воды!..

И тут случилось неожиданное. Растолкав охрану, в контору влетела вся в слезах солдатка. Разодрала рукав кофточки и крикнула:

— Видишь этот рубец на моем плече, гад! Это ж ты меня палкой ударил! Забыл? А я не забыла! — и тут же липилась чувств.

Ее взяли на руки и вынесли на улицу, на воздух. В этот момент мимо охранников пропыхнул белокурый мальчуган лет семи. Подбежал к столу, огрел Смоляного кнутовищем по голове и стрелой вылетел из конторы.

— Куда вы там смотрите? — крикнул председатель хлопцам. И, вздохнув, добавил: — Сынок ее.

...За окном сверкнули фары — прибыла машина из района. Из кабины вышел начальник отдела Госбезопасности. С кузова прыгнули один за другим восемь солдат с автоматами. После того как начальник поговорил с людьми, убеждая их не чинить расправу, из конторы вывели на дорогу бледного, вспотевшего от страха и заплеванного фашистского холуя.

— Ведите его в район, а я тут еще поговорю с народом! — распорядился начальник. И солдаты повели Смоляного.

А через какую-нибудь минуту к начальнику подошел инвалид на деревяшке. Отвел начальника немного в сторону и сказал:

— Может случиться неприятность, товарищ майор. Около пятнадцати женщин с вилами и мотыгами побежали огородами на край села, чтобы там отбить Смоляного у охраны и расправиться с ним. Что-то надо делать...

Начальник выглянул за ворота и покричал солдатам:

— Не туда, а этим краем ведите, степной дорогой...

На дворе уже совсем рассветало. Уставший председатель колхоза поднял руку, подождал, пока люди затихли, и сказал им:

— Прошу расходиться. И собирайтесь в поле, у нас много работы!

Я не знаю, какое понес наказание изменник и предатель Смоляной, но зато я тогда хорошо узнал и на всю жизнь запомнил, что мой трудолюбивый, честный и великий народ ничего не забывает и ничего никогда своим врагам не прощает!

ГАРМОШКА ДОЛЖНА ИГРАТЬ



она играла.

От плеча до плеча разводила ее голубоватые мехи светлокосая молодка, сидевшая на передней лавке небольшого клуба села Васильевки. Послушные пальцы извлекали из клавишей то лирические мелодии, то задорные танцы, то задумчиво-тоскливые солдатские напевы про тесную печурку, в которой бьется огонь, и про негасимую любовь.

До сих пор мне доводилось видеть девушек-гармонисток только на сцене. Я с детства привык к тому, что единственными хозяевами этого народного инструмента были только чубатые парни. И тем более меня удивила вдохновенная и даже разудалая игра этой белокурой молодицы.

Еще до начала колхозного собрания, на которое шел народ, я спросил у пожилой тетки, кто эта гармонистка.

— Наша сельская молодница, Наталка, — ответила она. И добавила, вздохнув: — Когда ее муж погиб на фронте, она поплакала с полгодика, а потом сняла со стены гармошку и научилась сама играть. И песни всякие, и танцы.

Через некоторое время моя собеседница опять наклонилась ко мне:

— Или по нему так скучает и печалится, или еще что... Выйдет одна поздним вечером на улицу, идет селом из конца в конец, играет, как когда-то ее Максим. Поиграет, пройдет туда и обратно — и пошла домой. Иногда

смотришь на нее, слушаешь и, сказать по правде, слезу утрешь. А она ох и терпеливая!..

Встав из-за стола, председатель поднял руку, дав Наталке знак, и она опустила гармошку со своей высокой груди на колени. Обхватила ее руками и прильнула правый щекой к голубоватым мехам.

О многом говорилось на том собрании: о подготовке к весне 1946 года, о восстановлении ферм, о комплектовании звеньев. И хоть про все это писал я потом в газете, да, признаться, забыл, что там было самым главным. Зато до сих пор живет в моей памяти образ вдовы-гармонистки.

Вот уже закончилось собрание... Все встали, зашумели. Наталка закинула ремень через плечо и широко развела мехи Максимовой гармошки. И провожает людей из клуба мелодия вечно живой песни: «Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув я дівчину». Вот вышла Наталка на темную сельскую улицу. И уже играет что-то веселое. А за ней целая толпа молодых парней и девочек...

Соблюдая некоторую дистанцию, шел и я этой улицей. Думал, что выберу такой момент, когда смогу расспросить Наталку о ее Максиме, о жизни и работе. Вместе с тем меня тревожила мысль, что такой разговор может закончиться слезами, если я разбережу ее самое больное место.

Іхав козак за Дунай,
Казав дівчині прощай...

Пела гармошка, пели девчата и хлопцы, тесным полукругом шедшие за Наталкой. Когда шумная компания поравнялась с одной из хат, из ворот на дорогу вышел старик.

— Может быть, уже спать бы шла! — сказал он гармонистке.

— Сейчас, отец. Вот пройдем до молочной фермы и назад! — отозвалась Наталка. И лишь тогда я впервые услышал ее звонкий голос.

Отозвалась — и пошла дальше...

А я не пошел. Поздоровался со стариком, познакомился.

— Дочка ваша играет? — спрашиваю его.

— Нет, Наталка — невестка моя. А сын не вернулся. Играет она, а мне все кажется, что Максим: все его мотивы Наталка точно берет...

Задумался старик. Помолчал. А потом добавил:

— Через месяц после того, как поженились, купили они эту гармошку. Да еще вот позавчера приезжал один парень из соседнего села... торговаться за нее. Сказал, что ручную швейную машинку отдаст. Да Наталка и слушать не хочет. Приходит вечер, и снова снимает гармошку с гвоздя, что под Максимовым портретом. «Гармошка должна играть, отец!» — скажет и идет с ней на люди.

Весной этого года на совещании работников сельского хозяйства встретил я случайно секретаря райкома из тех краев, где был лет двадцать тому назад.

— А вы знаете, — спрашиваю, — в Васильевке Наталку, у которой муж был танкистом, а хата их напротив кооператива?

— Ту, что на гармошке играет? — переспросил секретарь. — Есть такая! Живет и здравствует!

ДЕВЧАТА-ГВАРДЕЙЦЫ



то было на Волге, в Сталинграде. Прошел только месяц с тех пор, как наша славная армия вдребезги разгромила здесь гитлеровскую трехсоттысячную орду.

Редакцию известили, что в заводском, наспех подновленном клубе состоится женский вечер. Из литработников редакции газеты «Сталинградская правда» идти в клуб выпало мне. То, что я увидел и услышал на этом незабываемом вечере, я записал в блокнот, который берегу до сих пор.

Вот они, эти записи.

«...В зале — девчата, пожилые женщины. На одних военная форма — серые шинели, затянутые поясами, солдатские шапки с красными звездами. Другие в темных костюмах, в беретах, некоторые в косынках. Защитники Сталинграда — зенитчицы, медсестры, пулеметчицы, телефонистки, командиры — встретились со своими подругами с фабрик и заводов, чтобы вместе провести время, поделиться думами и тревогами. Отзвучали песни. Зал замолк. На трибуне армейский командир — капитан Лапшина.

— Дорогие друзья, на этом празднике, который мы отвоевали и выстояли в жестоком бою, хочется рассказать вам, неутомимым труженицам города-героя, как наши девчата-воины громили врага.

Капитан Лапшина на минутку замолчала, потом взяла

со стола и высоко подняла перед залом портрет молодой девушки в пилотке.

— Медсестра Олена Земцова! Мы ее никогда не забудем,— сказала Лапшина.

Зал напряженно слушал рассказ капитана. Перед глазами присутствующих вставали недавние картины боев на улицах города. Здания охвачены пламенем, с грохотом рвутся бомбы, снаряды, поднимая столбы огня и искромсанной земли. Фашисты люто бросаются в атаку. Наши воины целый день без передышки сдерживают вражеский натиск. Ползком, прячась за камни, за полуразрушенные стены, от одной огневой точки к другой пробирается медсестра Олена Земцова.

«Сестрица, помоги!» — слышала она справа и спешила на голос; перевязывала раненого, тащила на себе из огня... За углом здания под окном — стон. Раненый боец, хрипло дыша, просит помощи. Олена уже около него.

«Крепись, братец! Крепись, раны твои не смертельны», — и на грудь раненого ложится белый слой повязки.

«Санитара сюда!» — «Иду», — отвечает Земцова и пробирается на командный пункт. Командир в тяжелом состоянии, Олена наклоняется над ним, и в это мгновение рядом разрывается снаряд. Олена, взмахнув в последний раз рукой, падает... Сорок бойцов она спасла, а сорок первого — не успела. Вечером, после боя, Оленка Земцова в землянку не вернулась. Санитары, медсестры, усталые и измученные, сидели молча. «Нет нашей Оленки, — раздался печальный голос. — А еще вчера вечером стояла она вот тут и напевала «Ах ты, степь широкая...».

Хоронили Олену Земцову на крутом волжском берегу. Бойцы поклялись на ее могиле отомстить врагу сполна.

...В зале тихо. Капитан Лапшина поправляет портупею, кладет платок в карман, продолжает рассказ про бесстрашных воинов-девчат. Перед слушателями развертывается новая картина...

...В маленькой будке около коммутатора полевого те-

лефона была красноармеец Рузанова. Вдруг землю сотряс взрыв. Снаряд разорвался близко, загорелась будка. Уже пылает крыша, пылают стены, в будке тяжело дышать, но девушка не покидает свой пост. На ней начинается гореть одежда, но связь ни на минутку не прерывается. Только тогда, когда на помощь прибежали товарищи, девушка оставила аппарат.

Докладчица оборачивается и, глядя в президиум, усмехается.

— Вот она сидит перед вами, славная защитница Сталинграда Рузанова, с медалью «За отвагу», — говорит капитан.

Зал горячо приветствует отважную телефонистку.

...Нина Чертанова! Она увидела, что фашистские вороны разворачиваются, чтобы бомбить нашу батарею. Нина бросилась спасать ящики со снарядами. Ее ранило. Когда забирали дивчину в госпиталь, она попросила товарищей: «Бейте гадов! И за меня бейте».

...Гвардии красноармеец Горизонтова! Уничтожила двенадцать фашистов, во время боевой операции вывела группу бойцов из окружения.

— Она среди вас в зале! — говорит Лапшина.

Присутствующие долго аплодируют гвардии рядовой Горизонтовой.

...Шура Киселева, пулеметчица Настя Попова, медсестра Войтович — о них рассказывает с трибуны участница боев комсомолка Руденко.

— Эти девчата, — говорит она, — показали себя как настоящие патриотки. Много великих женских образов создали наши писатели-классики, но я утверждаю, что история литературы не знает таких героинь, какими являются участницы волжской эпопеи! — восклицает комсомолка Руденко.

За ней на трибуну идет прославленная героиня обороны Сталинграда, дочка украинского народа, гвардии военфельдшер Антонина Житкова...

Никогда я не забуду взволнованного выступления моей землячки Антонины.

— Дорогие друзья, во время боев в Сталинграде я вынесла с поля боя девяносто пять бойцов и командиров. Советское правительство наградило меня за это орденом Ленина,— говорит Житкова.— Я видела, как горел город, как выходили из его огня старики и дети. Я вспоминала Харьков, мой родной дом, маму и клялась мстить врагу!..

Затаив дыхание слушал зал о том, как Антонина Житкова выносила бойцов к переправе, как однажды везла на машине пятнадцать раненых солдат и вдруг увидела около дороги немецких автоматчиков.

«Давай полный газ!» — крикнула шоферу, а сама схватила автомат и очередью прошла вокруг машины... Проскочили без жертв, только борта грузовика посекли вражеские пули.

Заканчивая свое выступление, Антонина Житкова поклялась своим подругам и дальше, до полной победы, бороться с фашистами.

...Много незабываемого услышал я тогда на вечере в заводском клубе. Как будто и сейчас слышу, как после окончания этой встречи капитан Лапшина, выстраивая девчат-гвардейцев, торжественно сказала:

— Идем отсюда на станцию Бекетовка. Там в вагонах наши автоматы, медицинские сумки. Курс — на запад! Впереди новые бои! До новых встреч, друзья, в день полной победы!..»

Вот что записано в моем блокноте 7 марта 1943 года. Все ли героини-девчата вернулись с поля боя в родной край, к сожалению, я не знаю.

А может быть, они откликнутся?

МИТИНГ В СЕЛЕ РЕЧКИ



а города Украины падали бомбы, в полях горели золотые хлеба... Шла страшная война...

С двадцать третьего июня по пятнадцатое июля 1941 года меня, мобилизованного (и еще человек десять с высшим образованием), оставили при Киевском облвоенкомате для работы по мобилизации. Работали мы круглосуточно.

Когда же была объявлена всеобщая мобилизация, нам выдали документы на выезд в тыл, чтобы там явиться в военкомат и встать на учет.

Так я попал в город Белополье, на Сумщине.

Несмотря на то что фронт был далеко, уже и сюда летали фашистские вороны-бомбовозы. Секретарь райкома партии рассказывал, как несколько дней тому назад железнодорожники станции Ворожба спасли эшелон с боеприпасами: бомба попала в паровоз, вспыхнул передний (служебный) пульман, и железнодорожники, рискуя жизнью, руками толкали и откатывали вагон за вагоном...

Запомнились незабываемые картины проводов на войну. В центре Белополя, на площади, сотни матерей, жен, дочерей и сестер обнимали своих сынов, мужей, отцов и братьев. Прощались, вытирая горючие слезы. А когда военком выстроил мобилизованных и подал команду «Шагом марш!», вся площадь вскрикнула и заголосила. Как-то молодая женщина подбежала к строю, обхватила своего солдата за шею, и тот долго не мог ее оторвать...

Такое никогда не забудешь!

В тот же день секретарь райкома передал новость.

— Звонили,— говорит,— из обкома о том, что наш земляк Герой Советского Союза Степан Супрун за мужество и героизм, проявленные в бою с гитлеровскими захватчиками, награжден второй Золотой Звездой Героя.— И добавил: — По этому поводу завтра в десять часов утра в селе Речки, на родине Степана Супруна, проводим митинг.

Я попросил секретаря, когда он поедет туда, чтобы он взял меня с собой.

Из прессы и по радио еще до войны мне было известно имя летчика Степана Супруна. И, собираясь в его село на митинг, я ночью написал «Песню про героя Супруна».

Какой она тогда у меня получилась, такой я ее и переписываю сюда:

Ой, родная сторона¹,
Дым по поднебесью...
Про Степана Супруна
Мы сложили песню.

Ввысь подняв крылатый строй
В час нелегкий, грозный,
Бьется насмерть наш Герой,
Сокол краснозвездный.

Неспроста гордится им
Сумщина родная.
Он, в бою не утратим,
Мчит, врагов сбивая.

Падай вниз, фашист, сгорай,
Оземь лбом ударься!
И на наш советский край
Впредь вовек не зарься.

Небосвод наш будет чист!
Враг достойно встречен:

¹ Перевод В. Корчагина.

В небе — летчик-коммунист,
Наш земляк из Речек.

Под крылом — отцовский дом,
Белополья крыши...
Строй идет за Супруном,
Гул победный слышен.

Шлем приветы земляку
С митинга, с майдана,
Слава авиаполку
Супруна Степана!

(Под черновиком этой паскоро написанной песни, который случайно сберегся, написано: «С. Речки, Белопольский р/н, на Сумщине, июль 1941 года».)

...Утром следующего дня в селе на площади около колхозной конторы собралось много народа — женщины, дети, мальчишки, старики; мужчины призывного возраста были уже на войне.

Помню, открыл митинг совсем уже пожилой колхозник, заменивший несколько дней тому назад ушедшего на фронт председателя колхоза. Никакой написанной речи у старика не было. Поднял руку, чтобы народ притих, и заговорил:

— Люди! Супрунового Степана все знаете?

— Знаем...— эхом откликнулась площадь.

— А что он летчик и Герой Советского Союза — все знаете?

— Знаем!..

— Сегодня я созвал вас на это собрание, чтобы сообщить вам радостную новость: Степану Супруну за то, что он беспощадно бьет проклятых фашистов, дали еще одну Звезду Героя!.. Вот он какой, наш земляк!..

Площадь заплодировала, загомонила...

Выступали колхозный бригадир, молодой хлопец-комсомолец, учительница, у которой учился Степан Супрун. Славя героя, выступавшие заверяли родную партию, что

будут бороться с врагами так, как борется бесстрашный сокол, их земляк Степан Супрун.

Дали слово и мне, тогда еще молодому литератору. Когда я прочитал свою песню, то переписанный начисто экземпляр забрал у меня какой-то молодой человек, сказав, что он из редакции. Позже мне говорили, что эту песню напечатали в сумской областной газете «Більшовицька зброя».

Под конец митинга на площадь явился почтарь. Он вынул из своей сумки газеты, где была помещена фотография летчика, дважды Героя. И зашелестели, пошли по рукам эти газеты...

Прямо с митинга люди шли в поле на жатву.

— Только не собирайтесь в кучу! И поглядывайте на небо! — предостерегал их седой председатель артели.

...Такое у меня воспоминание о родине славного сына Сумщины Степана Супруна и о его односельчанах-хлебо-
робах.

КТО ОТЦЕПИЛ ВАГОН?



разу признаюсь: отцепил его я... Технику этого дела я усвоил еще в дни войны, когда писал очерки о сталинградских железнодорожниках. Не раз пробирался я с ними под вагонами, смотрел, как они их сцепляют и расцепляют, иногда даже помогал им. И со временем забыл, как это делается, не думая, что когда-нибудь эта наука мне может пригодиться.

Как это случилось и по каким причинам, я расскажу ниже. А перед этим позволю себе маленькое отступление.

Два года мы, я и моя жена Клавдия Ивановна, проработали в газете «Сталинградская правда». Вместе со всеми переживали мы тяжелую битву на Волге. И вот 20 ноября 1943 года коллектив редакции провожал нас...

Обнялись мы как родные с нашими русскими братьями-журналистами, сели в трофейный немецкий «юнкерс» и полетели в Саратов. Оттуда с группой работников украинской радиостанции имени Тараса Шевченко мы должны были через какое-то время выехать на Украину, в освобожденный Киев.

Было на диво тихое и красивое утро. Внизу, под крыльями самолета, проплывали и переливались солнечным светом припорошенные первым снегом бескрайние приволжские степи.

— Смотри, какая светлая дорога домой нам стелется, — улынулась жена.

Часа через полтора мы были уже в Саратове. Оба в

ватных телогрейках, в солдатских сапогах. Другой одежды у нас уже давно не было. Поэтому, помню, как вначале нам было необычно встречать на улицах женщин в шубках, а мужчин не в шинелях, а в пальто.

А вот и улица Радищева... И Радиокомитет...

И вспомнилась холодная зима 1942 года. Мы в южной стороне Сталинграда, в полуразрушенном здании завода, который ремонтировал танки. Здесь, на заводской территории, в небольшом помещении цеховой конторы и помещалась тогда редакция газеты «Сталинградская правда».

В этом помещении мы ежедневно выпускали газету и жили.

Время было тревожное, тяжелое. Много дней и ночей не было тишины, без конца воздух сотрясали разрывы бомб и грохот канонады... Украина была оккупирована врагом. Никаких весточек о родном крае мы не получали. Но не было дня, чтобы мы не вспоминали Киев, степную Одессину, родных и земляков.

Однажды во дворе завода под окном нашей редакции остановились воины-связисты с радиоаппаратурой на машинах. Мы быстро с ними познакомились и попросили их провести нам через окно радиоточку.

Сделали они это быстро, и на стене нашей редакции появился маленький незамолкающий репродуктор.

Как-то после двенадцати часов ночи он принес нам огромную радость: мы слышали знакомый еще по Киеву голос Нины Савицкой.

«Внимание, внимание! Говорит Советская Украина! Говорит Советская Украина через радиостанцию имени Тараса Шевченко!» — звучал голос киевлянки Нины Савицкой, такой знакомый с довоенных лет всем людям Украины. Можете себе представить, как мы обрадовались!

Военный радиотехник, настроившийся тогда на эту станцию, был, возможно, родом с Украины, так как, услышав родную речь, включил динамик в своей машине на всю мощность! Над заводской территорией, над берегами

Волги еще громче зазвучало: «Передаем украинские народные песни...» И чудесный голос Ивана Козловского зашел для нас:

Повій, вітре, на Україну,
Де покинув я дівчину...

Потом мы слушали партизанские известия: как борется с врагом в тылу наша непокоренная Украина...

Радиостанция имени Тараса Шевченко... Где она? Откуда звучат ее пламенные слова, песни?

Конечно, ничего этого мы тогда не знали. А теперь вот зашли в этот самый Радиокomiteт!

Приняли нас там сердечно и приветливо... С радостью мы встретились здесь с нашим старым знакомым — народным артистом Юрием Васильевичем Шумским, познакомились с писателями Марией Пригарой, Валентиной Ткаченко, Олексой Гуреевым, Олексой Ющенко... Узнали о том, что одна группа уже выехала на Украину... Отъезд второй группы задерживался по той причине, что трудно было достать даже и товарный вагон. Время шло, а вагона все не было.

И вот приятная новость. В Киев едет по служебным делам «своим» вагоном какой-то товарищ Галита. Едет с женой и с сыночком и, говорят, после долгих просьб согласился взять в «свой» вагон и нас, журналистов.

...И вот наконец мы сели в этот самый вагон. Точнее, сели в одну его половину. Честно говоря, я тогда впервые за время войны воочию увидел эгоиста-шкурника, который в те тяжелые дни в первую очередь заботился о своей собственной персоне. До сих пор я встречал сотни людей — и военных, и штатских, и партийных, и беспартийных, которые жили душа в душу, делили все поровну — и кусок хлеба, и тепло шинели, и радости, и горечь неимоверных трудностей. И для всех них самым святым делом было победить лютого врага!.. А этот, в смушковой шапке, в белом кожаном-бекеше, был не из таких.

«Свою» половину вагона Галита заблаговременно снабдил нарами и полками, на которых разместил десятка полтора ящиков с продуктами да чемоданов со всяким добром. В нашей же половине кроме дощатого пола не было ничего. Сидели мы и спали на этом полу, постелив все, что у кого было. Посередине вагона, на «демаркационной» линии, стояла печка-«буржуйка», обогревавшая вагон. На этой же печке варили мы свой постный коллективный кулеш на двенадцать персон.

Сварим, усядемся вокруг и слышим, как Галита на своей половине говорит жене:

— Давай и мы перекусим...

Нарежут они сервилат, белого хлеба, откроют банку с маслом — и смакуют!

— Может, кофе заварить? — спрашивает Галитиха.

— Завари...

Разложат ломти кекса и хлебают душистый «кофий», позванивая ложечками. А мы сидим, перемаргиваемся, едва сдерживая смех... И так каждый день, всю дорогу. Где только они «припасли» эти продукты — один бог ведал!.. Нас было двенадцать человек, работников прессы. Среди нас был и известный теперь писатель, уже знакомый вам Олекса Гуреев. Зная о том, что в Сталинграде я и стихи писал, Олекса Иванович как-то вечером попросил меня:

— Почитайте нам свои сталинградские стихи!..

Все сели поближе к печке, и под стук колес я начал читать поэму «Иван Семенюк», «Балладу о баянисте»...

Свесив белые валенки с полки, молча, с насупленным видом слушал меня и Галита.

— Еще что-нибудь почитайте, — попросили товарищи.

Но читать больше я не смог. Галита в форме приказа категорически заявил:

— Хватит языком молоть! Хватит!

На этом наша «литературная часть» и закончилась. Вы понимаете, как мне было больно! Хотелось встать, по-

дойти к нему, растолковать, в каких условиях писались эти стихи. Но я не сделал этого. Просто, как говорится, не хотелось связываться...

Десять дней добирались мы до Харькова. Всем понятно, каким эшелонам давали тогда зеленую улицу. На остановках мы выходили, печально смотрели на руины вокзалов, разговаривали с людьми освобожденных районов...

Под Харьковом, на большой узловой станции Мерефе, вагон наш отцепили и загнали в тупик. Стоим один день, второй. Об отправлении ничего неизвестно. И наша группа с разрешения Галиты направилась в город. С ними пошла и моя жена. Меня одного оставили «на хозяйстве»... Идти им было не близко, семь километров. Вышли часов в одиннадцать утра, а вот уже и вечер, а их все нет. Прошел еще час — нету... А Галита все ходит к начальству, чтобы вагон прицепили. Вот он пришел опять от начальника и, слышу, докладывает жене:

— Я им поддал жару! Теперь все в порядке: сказали, минут через тридцать прицепят вагон, и поедем!..

Услышав это, я еще больше разволновался. Деликатно обратился к Галите:

— Как же ехать, раз наши еще не вернулись?

«Хозяин» вагона повернулся в мою сторону:

— А мне какое дело? Какое мне дело?

Хоть ему и не было никакого дела, да когда задом подкатил какой-то товарняк и стукнул буферами об наш вагон, а потом раздался голос прицепщика «Готово!», я решил, что должен сделать. Не торопясь, слез на землю, пробрался к буферам, поддержал плечом тяжелую цепь, натянул ее и скинул с массивного крюка. Разъединил и замкнул тормозные шланги... Еще раз осмотрел свою работу: все точно! Наш задний вагон отцеплен!

Вскоре нас снова сильно толкнуло, но... не сдвинуло! Галита выглянул из дверей и оторопел: товарняк пошел, а мы ни с места!

Пока Галита ругался с прицепщиками и с дежурным по станции, подошли наши: веселые, дружные!

А через час мы уже все вместе радовались, что едем из Харькова дальше — в Киев едем!

Но не только тогда, а и через много лет, до этих самых пор я никому не рассказывал, как отцепил вагон. И никогда не сожалел, что так поступил. Наоборот, был очень рад, что выручил своих спутников-журналистов, с которыми и теперь встречаюсь как с добрыми друзьями... И теперь, когда мне доводится заполнять какую-нибудь анкету, то на вопрос «Специальность?» к словам «хлебороб, кооператор, рулевой матрос, учитель, журналист» так и хочется добавить: железнодорожник-отцепщик!

Короткий эпилог.

После прибытия в Киев Галита года полтора занимал достаточно высокую должность. Но наша партия быстро и точно распознает и отделяет тех, кто честно служит, от карьеристов и шкурников. Исчез где-то с горизонта этот человек. И лет двадцать пять я о нем ничего не слышал.

И вот как-то вызвали меня товарищи из редакции и попросили поехать в одну область на опытную станцию и написать острую сатиру на ее руководителя, который чувствует себя «князьком» и больше заботится о частной собственности, чем о работе станции. И назвали его фамилию: Галита!

Я сказал, что не смогу поехать и написать о нем, так как, хорошо помня его персональный вагон, не смогу быть объективным. И товарищи меня поняли.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА



Н апротив города Камышина, на левом берегу Волги, виднеется слобода Николаевская. Ровненькие улочки и переулки, в центре невысокие каменные здания, на окраинах, утопая в зелени, белые хаты, напоминающие села Полтавщины. Такой осталась в моей памяти эта слобода. Не удивляйтесь, что я так скупо пишу о ее живописности и о всяких внешних красотах. Время было такое, что все мы тогда мало любовались пейзажами и окружающим, а больше приходилось смотреть в беспокойное небо и задымленные горизонты.

Прибыл я в слободу Николаевскую с командировкой «Сталинградской правды» в июне тысяча девятьсот сорок второго года. Прибыл в то тревожное время, когда Совинформбюро ежедневно передавало сводку о героических подвигах наших воинов в битве с гитлеровскими захватчиками, в частности на Дону. Задание мое было — написать, как трудящиеся-волжане помогают фронту.

Скажу сразу, что я тогда этого задания не выполнил. Но за это не только не имел никакого порицания, а даже наоборот — получил благодарность.

Как и почему это произошло, я сейчас расскажу.

Узнал я от редактора местной районной газеты, что большой, на весь мир известный русский писатель, автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины», полковой комиссар и военный корреспондент Михаил Шолохов находится как

раз тут, в Николаевской слободе, на центральной улице, в здании напротив военной комендатуры.

Увидеть знаменитого писателя мечталось давно. И вот теперь он рядом, на соседней улице. И разве я, журналист, представитель редакции, мог тогда пройти мимо этого здания? И разве не наилучшим материалом для нашей газеты будет слово прославленного писателя, если мне удастся что-нибудь получить и привезти от него?

С этими мыслями я и вошел в военную комендатуру, хорошо понимая, что в грозное время совсем не случайно поселили Михаила Шолохова как раз напротив этого здания.

Дежурный майор просмотрел удостоверение, усмехнулся:

— Все ясно, товарищ корреспондент! — Подвел меня к окну, показал дом и пояснил: — Зайдете вы в ту калитку, а потом пройдете вдоль веранды, вход к ним с тыловой стороны...

— Спасибо! — поблагодарил я и пошел.

Каких-нибудь пятнадцать шагов двором... Четыре деревянных ступеньки на крыльцо... И я уже стою перед открытыми дверями просторной и совершенно пустой веранды. Идти дальше не решился и слегка постучал.

Из комнаты направо вышла круглолицая казачка в красной кофточке, с голубой косынкой на голове. Как я и догадался, это была жена писателя Мария Петровна Шолохова.

Поздоровались.

— Слушаю вас. Вы к кому?

— К Михаилу Александровичу! -- и отрекомендовался, сказав, откуда приехал.

— Он собирался идти в райком, я сейчас посмотрю, дома он еще или уже ушел, — приветливо сказала Мария Петровна, привыкшая, вероятно, годами тщательно оберегать покой и часы творчества своего Михаила Александровича от разных (и нередко назойливых) посетителей.

Она быстро вернулась.

— Он сейчас выйдет, проходите...

Через какую-нибудь минуту по-молодецки легко шел мне навстречу хозяин этого временного жилища. Побывав в действующей армии, он заехал провести семью... Белокурый, в синеватой рабочей блузе с открытым воротом.

— Здравствуйте! — сказал еще издали. И мне даже стало неудобно, что не я, а он первым поздоровался.

Присели на скамейке. Михаил Александрович расспрашивал меня про Сталинград, особенно про работу того завода на окраине города, который ремонтирует «раненные» в боях танки и снова отправляет их на передовые рубежи битвы. Спросил, давно ли я работаю в редакции.

На невысоком столике в стороне стояла пишущая машинка с заправленным листом бумаги. И я заметил, что там была уже до половины заполненная девятая страница. Значит, пришел я как раз тогда, когда Михаил Александрович что-то допечатывал.

Чтобы не отнимать у него много дорогого времени, я обратился с просьбой:

— Дайте что-нибудь для «Сталинградской правды», Михаил Александрович!

Он помолчал, подумал, а потом сказал:

— Просьб так много, что и не знаю, как тут быть... — Достал что-то из верхнего кармана своей куртки и подал мне. — Вот и такую просьбу получил, читайте!

И я прочитал телеграмму-молнию, напечатанную на бланке, где вверху было написано «Правительственная». Я до сих пор почти дословно помню текст этой телеграммы:

«Дорогой Михаил Александрович, поддерживаю ходатайство редакции журнала «Лайф», которая обратилась к вам с просьбой прислать ей материал с фронта. Желаю здоровья, новых успехов.

С приветом посол СССР в США М. Литвинов».

— А надо ведь непременно еще в «Правду» послать и себе оставить, а я вот напечатал только три экземпляра! — развел руками и усмехнулся Михаил Александрович. А потом добавил: — Да и «Сталинградской правде» отказать не могу! Ладно, — говорит, — попрошу Марию Петровну, чтобы еще раз перепечатала.

Вынул из машинки девятую страницу, просмотрел весь второй экземпляр, подписал и дал мне свой знаменитый очерк «Наука ненависти», написанный к годовщине начала второй мировой войны.

От радости я едва нашел слова благодарности за такое внимание к нашей газете! Когда я попрощался и выходил, Михаил Александрович прошел со мной до самого крыльца. Вспоминаю, что по дороге я спросил выдающегося мастера слова, сколько страниц в день он пишет. Может, это было и не к месту, но спросил, уж очень мне интересно было.

Михаил Александрович, перед тем как ответить, достал спичку и разжег табак в своей казацкой трубке.

— В среднем пишу полторы страницы в день. А если удастся написать две или даже две с половиной, то считаю, что я очень успешно поработал.

— Всего вам хорошего, дорогой Михаил Александрович!

— И вам!

Этими словами и закончилась тогда моя встреча с известным советским писателем.

Спрятав в портфель «Науку ненависти», я думал теперь, как мне побыстрее доставить ее в редакцию. А поэтому пошел еще раз в комендатуру просить, чтобы устроили на машину, идущую в Сталинград.


— Все ясно, товарищ корреспондент! — снова повторил свои слова дежурный майор.

И примерно через час я уже сидел сверху на нагруженной машине, которая везла в Сталинград матрасы для госпиталей.

Вот как случилось, что я не выполнил задания редакции, и как я привез для газеты известный очерк известного и любимого народом писателя Михаила Шолохова.

...Прошло около тридцати лет после этой незабываемой встречи. Как-то поехал я в Ирпень, в Дом творчества писателей, где работали над своими новыми вещами поэты, прозаики, драматурги. И однажды за обедом один наш прозаик похвастался мне, что он за вчерашний день написал шестнадцать страниц романа. Мне хотелось тогда сказать ему, что Михаил Шолохов пишет по полторы-две странички за сутки. Но почему-то не сказал, не хотелось сбивать человека с темпа.

МОЙ ПЕРВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

 сень 1926 года. Одесса. Мы, студенты кооперативного техникума, пристрастились посещать литературные вечера, на которых местные писатели читали свои произведения. Это были очень интересные вечера. Нам особенно нравилось обсуждение прочитанного. Дело в том, что писательские выступления перед широкой публикой были в те времена не концертно-парадными (с аплодисментами), а творчески деловыми. На заседания литераторов сходилось много людей с различными вкусами, взглядами, интересами. И когда начиналось обсуждение, то приходилось выслушивать критиков совершенно противоположных взглядов. Бывало, выйдет один из них и вознесет до небес прослушанное произведение, а возьмет слово другой — и разнесет его вдребезги. А мы, будущие кооператоры, сидим слушаем, и нам все интересно. И кажется, что и первый оратор выступил правильно, да и второй имел полное основание утверждать свое.

Существовало тогда в Одессе пять литературных организаций: «Гарт», «Плуг», «Перевал», «Молода гвардія», «Потоки Октября» и большое литературное объединение при центральной рабочей библиотеке. Каждая литературная организация имела свой день занятий, так как каждая заседала еженедельно и была заинтересована в большой аудитории.

В нашем общежитии на стене красовалось даже распи-

сание: когда, где и какие писатели собираются. Мы больше всего любили посещать многолюдные заседания пролетарских писателей, объединенных в одесском филиале «Гарта». Любили потому, что возглавлял «Гарт» симпатичный и остроумный, известный уже тогда поэт и прозаик Иван Микитенко. Вечера тут проходили содержательно, живо, а иногда и очень весело.

«Гартовцы» заседали в Клубе работников связи, на Садовой улице. Почти всегда зал клуба был переполнен слушателями. Писатели, чтобы их лучше всем было видно, размещались на сцене. А нам было очень интересно смотреть на сцену еще и потому, что там сидел наш студент из общежития Степан Крыжановский.

На одном из таких литературных вечеров я впервые и увидел Ивана Кондратовича Микитенко — молодого, энергичного, красивого. Мне запомнилось, как он, суммируя обсуждение повести талантливого прозаика Василия Миколюка, горячо и вдохновенно говорил о картинах сельской жизни, изображенных в повести, как, похвалив повесть в целом, сказал автору:

— А теперь, дорогой друг, начнем с тобой немножко ссориться! — и начал критиковать некоторые разделы повести. Некоторые места из нее Иван Кондратович изображал так юмористично, что веселился не только зал, но и сам автор смеялся от души. Был этот микитенковский юмор по-настоящему товарищеским, доброжелательным.

Заседания «Гарта» были привлекательны еще и тем, что тут могли читать свои произведения не только те, кто сидел на сцене, а и те, кто заполнял зал.

— Может, кто-нибудь из вас, товарищи, пришел на сегодняшнее наше заседание со своими произведениями, то прошу — выходите и читайте, — обращался к слушателям Иван Кондратович.

Помню, однажды после такого обращения Ивана Кондратовича с места поднялся пожилой сухопарый человек:

— Позвольте мне!

Он вышел вперед, слегка поклонился аудитории, президиуму и сказал:

— Разрешите, граждане пролетарские писатели, предложить вашему высокому вниманию поэму «Восхождение Иисуса Христа», написанную мной в апреле 1894 года и грубо отвергнутую в те оные времена клерками из губернских «Епархиальных ведомостей».

По залу прокатился шумок, потом смех. И сколько Иван Кондратович ни старался успокоить слушателей (немного прикусив губу), они продолжали шуметь и переговариваться...

— Разрешите же! — обратился к председателю сбитый с толку автор.

— Да вы же слышите, уважаемый, что я разрешаю, а вот народ, как видите, слушать не хочет! — дипломатично ответил Иван Кондратович и добавил: — Теперь у нас везде народ хозяин!

Мы долго потом говорили в своем общезнании об этом странном поэте-старичке... Вот на таких вечерах «Гарта» и выходили впервые читать свои произведения и пожилой рабочий, украинский баснописец Григорий Емец, и рабфаковец поэт Панько Педа, и другие — молодые и пожилые люди, любившие поэзию, пробовавшие свои силы в творчестве. Здесь, на литературных вечерах, они находили совет, товарищескую помощь и поддержку. Заседания «Гарта» были для них доброй школой.

В то время и я, признаться, уже понемножку «грешил» стихами. Но выйти с публичным выступлением долго не отваживался.

А однажды вышел и прочитал стихи «Весна». Сейчас я не могу вспомнить ни одной строчки из этого стихотворения. Зато хорошо помню, как Иван Кондратович, мягко покритиковав меня, сказал, чтобы я после заседания подошел к нему.

Председатель «Гарта» расспросил, есть ли у меня еще что-нибудь написанное, и, узнав, что есть, достал из кар-

мана блокнот, просмотрел одну страничку, другую и сказал:

— Зайдите в пятницу в три часа дня.— Дал адрес и вдруг поправился: — Нет, нет. Не в три, а в пять часов...

Позже, уже после многих консультаций, я понял, как много значила в деятельности Ивана Кондратовича его пунктуальность и точность. Иван Кондратович Микитенко, успешно учась в Одесском медицинском институте, успевал писать повести, рассказы, пьесы, поэмы и стихи. И в центральных журналах и в городской прессе мы читали все новые и новые его произведения. Человек высокой организованности и дисциплины, он умел использовать каждый час трудового дня.

Кроме научной и творческой работы, Иван Кондратович еще заведовал литературной частью Одесского театра Революции, был председателем окружной комиссии по борьбе с беспризорностью, систематически выступал как пламенный публицист со статьями в сельской газете «Червоний степ». В его выступлениях на литературных вечерах чувствовалось, что он, кроме того, успевал перечитывать все, что появлялось тогда нового в украинских художественных журналах. Ни одного напрасно потраченного часа! Всю молодую энергию, весь запал души и разума он тратил на дело, на творческие поиски, на общественную деятельность! Вот что означали его заметки в блокноте, где каждый час был четко расписан.

Такой стиль жизни и кипучей творческой деятельности известного писателя был и остается прекрасным примером для многих, особенно молодых литераторов. Он — яркое свидетельство того, как может и как должен трудиться тот, кто хочет служить своим творчеством нашему великому народу... Позже, как известно, Иван Микитенко уехал в столицу и был председателем Союза писателей Украины.

А все равно не забыл он Одессу. Каждый год, а то и дважды в год, он приезжал в приморский солнечный город, где учился в молодости, где начинал свой творческий

путь. Но приезжал он в родные места не так, как приезжают некоторые другие (полежать в холодке, поваляться на песочке). Еще за несколько дней до его приезда афиши оповещали жителей Одессы, что такого-то числа в таком-то театре или Дворце культуры состоится собрание интеллигенции города, на котором выступит Иван Микитенко с докладом о современной украинской литературе.

Помню, как в оперном театре около двух часов, без какой-либо бумажки, рассказывал Иван Кондратович про украинских прозаиков, поэтов, драматургов, о их связи с жизнью, с родным народом. Говорил о большой переписке с читателями.

— Я тоже,— говорит,— получаю много писем от моих читателей. Вот и перед выездом в Одессу пришло письмо от ценителя нашей литературы, который живет под Черкассами...

Вынул из кармана это письмо и прочитал. Пытливый читатель обращался к писателю со множеством вопросов, связанных с литературным процессом. Письмо заканчивалось строчками, которые я запомнил, пожалуй, дословно: «Вы писатели наши, а не из папского рода, и поэтому ответ должны мне дать непременно и своевременно!»

Иван Кондратович умел умно и красиво отвечать на такие письма публично.

С моей стороны было бы нескромностью в этих коротких воспоминаниях выставлять себя близким другом известного писателя, как это делают некоторые товарищи, вспоминая, скажем, незабываемых Остапа Вишню, Александра Довженко, Максима Рыльского. Я вспоминаю с любовью Ивана Микитенко как человека, как писателя и трибуна, как своего первого консультанта с сердечностью и глубоким уважением к нему. Я рад, что мне довелось его видеть, слышать, разговаривать с ним, увлекаться его талантливым творчеством и неутомимой деятельностью на ниве нашей родной литературы.

НАШ ДРУГ ВАСИЛЬ



Его нет... А мне все кажется, что вот-вот я его встречу на улице или в Союзе писателей. Он усмехнется, поднимет руку:

— Привет!

И что-то расскажет. И непременно что-нибудь такое, отчего вам станет приятно. Может быть, иногда даже что-то и преувеличит, но сделает это искренне и с единственной целью как можно больше вас порадовать.

— Был вчера на заводе «Большевик», выступал в цеху. Смотрю, висит стенная газета, а в ней два твоих стихотворения, те, что в «Советской Украине» печатались... Это же здорово, дружище! — говорит, а в глазах добрые искорки вспыхивают.

Множество товарищей незабываемого Василя Степановича Кучера помнят его доброжелательный характер. Такие черты характера он, вероятно, перенял от людей родного ему Полесского края.

Но больше всего он радовал всех нас своей честной и неутомимой работой, своими романами, повестями, рассказами и очерками о славных тружениках славной Украины. Разверните комплекты газет и журналов довоенного и послевоенного времени! Вы непременно найдете в них имя Василя Кучера и еще раз увидите, сколько тружеников и тружениц он возвеличил и прославил. Многие из них именно после очерков Василя Степановича стали известными на всю Украину.

Как-то, встретив меня, он спросил:

— Читал, Степан? Девчат-бригадиров с Житомирщины наградили! Это же про них я написал в газете! — радуется так, будто сам получил эту награду.

Немало людей, с которыми встречался писатель, стали потом прообразами героев его художественных произведений, так полюбившихся миллионам читателей. Жизнелюб и реалист, Василь Кучер принадлежал к тем писателям, которые всей душой любят свой народ и всегда имеют что рассказать про родной край в повестях и романах. Его мало прельщали всякие заграничные поездки. Не было у него времени ротозейничать, вечно спешил, если не в Севастополь, то на Кировоградщину, на Полтавщину — к украинским трудягам ездил как к родне!

Не раз в зимнюю пору в ирпенском Доме творчества мне приходилось наблюдать, как рано вставал и начинал работать Василь Кучер (окно его комнаты в четвертом корпусе выходило в сторону моего окна).

Вставал Василь Степанович в то время, когда встают и начинают работать все добрые люди, — в шесть часов утра. Еще спали сладким сном драматурги и лирики, а он уже подогревал кофе, по-солдатски быстро прибирал в комнате и садился за стол.

За окнами едва покачивался сосновый бор, за ним по высокой насыпи двигались на Киев первые рабочие поезда, а писатель уже нырял в мир своих образов, жил судьбой героев нового произведения. И так изо дня в день, без выходных, без усталости... Жили мы рядом, а виделись редко. Зато уж когда встречались, то было нам всегда интересно и весело.

Как-то приезжаю на аэродром и застаю его там. В привокзальном скверике сидит на лавочке и разговаривает с Александром Васильевичем Гиталовым. Оба должны лететь на Кировоградщину: знатный механизатор — домой, а писатель — в Знаменку, на читательскую конференцию.

— Садись, Степан, и послушай, что Александр Васильевич рассказывает, это как раз и для тебя тема...

Человек с тонким чувством юмора, Александр Гиталов рассказывал действительно смешные вещи. В разгар весенних работ его вызвали на киностудию, чтобы там, на участке студии, поставить его около декоративной сеялки и чтобы он показал и рассказал возможным кинозрителям, что такое квадратно-гнездовой метод.

— Тянут эту сеялку по участку, а я в костюме и при галстукe иду за ней и разговариваю! — рассказывал Гиталов. — А на завтра опять тянут и опять спимают, и так полторы недели! А разве не лучше было бы им приехать ко мне в бригаду и там снимать...

Не раз потом мы вспоминали с Василием Степановичем этот рассказ Александра Гиталова.

Всю жизнь любил таких людей писатель Василь Кучер. О его творческом пути и заслугах перед нашей литературой писали и еще будут писать критики, литературоведы, а мне хотелось, пусть коротко, вспомнить Василя Степановича Кучера как неутомимого труженика, как скромного, простого и доброго человека и еще раз выразить свое сожаление о том, что он так рано от нас ушел.

В ГОСТЯХ У ИСПАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ

В конце марта месяца 1967 года в главном городе Балеарских островов Пальма де Майорка состоялось весеннее заседание Межпарламентского союза — международной общественной организации, объединяющей парламентариев разных государств. Принять в нем участие выпало и мне, как члену делегации советских парламентариев.

Не буду рассказывать о тех важных вопросах, которые обсуждались на этих заседаниях, о том, что мы увидели в Мадриде и в Толедо, о живописном острове Майорка со скалистыми гребнями гор, зелеными склонами и цитрусовыми долинами, где плантации землевладельцев обнесены каменными оградами.

Расскажу уважаемым читателям о встрече с известным испанским писателем Камило Хосе Села, который гостеприимно принимал нас в своем доме.

Кстати, гостеприимство и уважение мы чувствовали с первых дней нашего пребывания в Мадриде и Толедо, чувствовали и понимали, насколько франкистский режим противоречит духу современной Испании, поняли, что теперь в этой стране мало кто верит всяким сплетням и домыслам о Советском Союзе.

Студент Мадридского университета, бывший нашим гидом на протяжении дня, сказал нам откровенно: «Мое поколение очень сожалеет, что Испания не имеет контактов с такой большой и могущественной страной, как Со-

ветский Союз.— После этих слов наш гид развел руками и добавил: — Но мое поколение в этом не виновато, ведь мы уроженцы послевоенного времени».

И не только от этого студента мы слышали высказывания о том, насколько нужен Испании контакт с нашей, Советской страной. Официальные лица, например, не раз касались этой темы.

В городе Пальма на побережье Средиземного моря советской делегации был отведен лучший отель «Де Мар», а в нем — лучшие номера. И как только мы там разместились, то первым, кто к нам буквально прибежал, был двадцативосьмилетний сын хозяина этого отеля. Оказалось, что он по пастойчивому совету отца уже восемь лет изучает русский язык, а тут ему выпала возможность попрактиковаться. Он много нам рассказал о своем городе Пальма, весной и летом привлекающем десятки тысяч туристов со всего мира, к услугам которых здесь имеется до 1400 отелей. Через этого же юношу мы получили приглашение Камило Хосе Селы посетить его.

Улицы Пальмы начинаются от морского побережья и ведут вверх к центру. Теплым весенним вечером мы ехали по одной из этих улиц к испанскому писателю. От центра мы повернули налево, поднялись еще выше, откуда виден весь город и освещенные портовые сооружения, и в тихом переулке остановились. Перед нами светились окна небольшой двухэтажной виллы писателя.

О Селе мы знали очень мало; знали, что он популярный прозаик, журналист, поэт, член Испанской академии, что родился он в 1916 году, что Камило Хосе Села зачинатель критической литературы по отношению к франкистскому режиму.

А вот и он, хозяин этого дома, известный писатель. Он выше среднего роста, со смуглым, как у рыбака, лицом, с доброй улыбкой. Густые волосы уже слегка посеребрила седина. На нем вишневого цвета сорочка с открытым во-

ртом. Руки у него мощные, рабочие. Он знакомит нас с женой и просит в просторную гостиную.

— Прощу! Вы первые советские люди в моем доме. Да, пожалуй, и не только в моем! — говорит он.

В нашей группе было три переводчика. Поэтому сразу же беседа пошла свободно, легко. Как живут испанские писатели? Села отвечает полушутя:

— Живут в зависимости от таланта...

Потом говорил о себе, о своей работе; работает над новым произведением, где героями будут, как и в предыдущих его книгах, простые, обыкновенные люди трудовой Испании с их судьбами и мыслями.

— А вообще издать свое произведение бывает не так легко. Мой «Улей», например, увидел свет далеко за пределами Испании... — как бы между прочим сказал Села.

Он поинтересовался каждым из нас: кто где живет, над чем работает.

Когда очередь дошла до меня, я коротко рассказал ему о Киеве, об Украине и, по правде говоря, заметил, что о многом он слышит впервые. Я подарил ему альбом цветных фоторепродукций «Шевченковские места», а также тарасовский «Заповіт», изданный на разных языках.

— Я много слышал об этом великом поэте! — говорит Села и все смотрит и смотрит на портрет Тараса Шевченко.

Потом честно признался, что он никогда не слышал, как звучит украинская речь, и просит что-нибудь прочитать. Об этом же попросили и трое его друзей, также приглашенных на вечер.

Я встал и прочел «Заповіт», а потом «О, недаремно, ні, в степах гули гармати» Владимира Сосюры.

— Я вашей речи не понимаю, но слышу, что она мягкая, мелодичная и очень поэтична, — сказал хозяин.

Потом мы слушали музыку и пели песни. Товарищи, с которыми я был, хоть и не украинцы, хорошо знали наши украинские песни. Поэтому в доме Селы, кроме «Подмос-

ковных вечеров», звучали «Верховино, мати моя», «Реве та стогне Дніпр широкий» и другие мелодии. Конечно же рассказывали мы друг другу и разные веселые житейские истории.

Чувствовали мы себя как дома.

За окнами, раскрытыми настежь, шелестел зеленой листвою сад. Внизу сияла огнями Пальма де Майорка, а на ее наивысшей точке, на горе, в доме испанского писателя продолжался вечер в честь советских гостей.

— А теперь прошу вас посмотреть вот эту книгу. Писали ее друзья и знакомые, посещавшие меня.— И Села раскрыл большой красивый альбом.

Листая его, мы увидели десятки разных автографов. На многих языках гости Селы — писатели, ученые, политические деятели — засвидетельствовали свое уважение, высказали наилучшие пожелания известному испанскому литератору.

Выразили свое уважение и мы, пожелав Селе новых творческих успехов на благо трудового испанского народа, мужественно борющегося за лучшую долю. Кроме этого я написал ему сердечные пожелания на украинском языке.

Хозяин дома подошел к шкафу, достал свой роман «Улей» и подарил мне.

— Пусть летит с вами на Украину!..

Прощались мы по-дружески, как давние знакомые.

...Как видите, уважаемые читатели, роман «Улей» с испанского острова Майорка попал на страницы нашей печати очень просто, без каких-либо трудностей и приключений.

НЕЖНЫЙ, ЧЕЛОВЕЧНЫЙ



весны и до конца лета работал я в поле — на севе, на косовице, на молотбе. От восхода до заката солнца — в степи. И только в субботний вечер или в воскресенье имел возможность пойти в сельский клуб почитать газеты, журналы. Именно в это лето я совершил в нашем клубе большое преступление: вырезал из журнала «Всесвіт» страничку со стихами любимого поэта Владимира Сосюры. В центре странички был помещен портрет молодого мечтательного лирика: в серенькой рубашке с открытым воротом, в кепке с широким козырьком...

Лето кончилось. В конце августа тысяча девятьсот двадцать шестого года я приехал в Одессу учиться в кооперативном техникуме. Как-то вечером вышел на Дерибасовскую. По улице целыми толпами гуляли упитанные, модно одетые напманши и их дочери. Они поблескивали золотыми сережками в ушах и браслетами на руках. И это портило мне настроение. Я шел и думал: «В каких-нибудь двадцати километрах отсюда люди день и ночь в труде, поливают землю потом, а тут роскошествуют, пьют вина и жуют белые булки дармоеды-напманы!»

С такими мыслями, естественными для селянина-степовика, шел я дальше по улице.

Вдруг вижу: по краешку тротуара с портфелем под мышкой шагает мне навстречу смуглый человек в серой рубашке, в кепке. Мечтательный, рассеянного вида.

Я остановился, присмотрелся. Он! А может, и не он? А человек уже прошел мимо. Достаяю из кармана страничку со стихами и портретом...

Он! И что есть духу бегу по противоположной стороне Дерибасовской, чтобы забежать вперед и выйти еще раз ему навстречу!

— Скажите, пожалуйста, вы Владимир Сосюра?

— Да. Я Сосюра. А как вы меня узнали? — и улыбнулся.

Рассказал ему откровенно все, как было, при этом извинившись от смущения раз десять.

— О! Это очень интересно, как вы меня узнали! Пойдемте, проводите меня до гостиницы...

Так я впервые увидел и услышал голос нежного и пламенного певца революции!

Простой, человечный и доверчивый, Владимир Николаевич рассказал, что он возвращается из Клуба моряков, куда его приглашали читать лирику. Расспросил, где я учусь, откуда родом. А уже около гостиницы (на улице Советской Армии, 40) сказал:

— Если завтра у вас есть время, приходите в пять часов вечера, проводите меня на вокзал, еду завтра в Харьков.

Возвращался я от него счастливейшим человеком на свете.

Взволнованный встречей с любимым поэтом, я, помню, долго не мог заснуть: писал письма родителям, землякам-друзьям, подробно рассказывая о знакомстве с великим украинским поэтом.

А на другой день провожал Владимира Николаевича на вокзал. Я нес его саквояжик, а он нес портфель со стихами. До отхода поезда оставался еще час, и мы сели на скамейку в привокзальном скверике.

— Почитаю вам свою поэму «Заводянка», — сказал Владимир Николаевич. Не обращая никакого внимания на

городской шум, на прохожих, которые иногда останавливались, он читал и читал по памяти строфу за строфой. Это была поэма об Украине, о ее бескрайних полях, городах и селах, озерах и реках, о славных ее тружениках.

...Поезд отправлялся. Владимир Николаевич помахал мне из окна кепкой и уехал...

С юных лет мечтал я увидеть живого писателя.

Мне всегда казалось, что это какие-то особенные люди: благородные, добрые, сердечные. И счастье мое, что первым я встретил в жизни именно такого писателя. Владимир Николаевич ежегодно приезжал в Одессу. И каждый раз я ходил на все его литературные вечера, видел, с какой любовью его встречали и провожали. Мне было особенно приятно, что он помнил меня и при случае дарил сборник своих новых стихов.

А однажды он спросил мой домашний адрес. И, когда я сказал, что у меня есть уже комната на улице Ольгиевской, дом 27, у него засияли глаза.

— О! Да это же тот дом, где живет мой двоюродный брат, врач Николай Сосюра! Я буду заходить к вам в гости,— сказал он с милой улыбкой.

И, спасибо ему, заходил. Не раз и не два. Посидит, почитает стихи, а иногда откровенно и горестно поведает, как его травят ретивые критики-карьеристы. Не могу не рассказать об одном эпизоде, сильно взволновавшем меня. Пришел однажды Владимир Николаевич как раз тогда, когда у меня гостил отец — простой трудяга-хлебороб. Я их познакомил, а сам ушел в магазин... Возвращаясь с покупками и застаю такую картину. Известный украинский поэт раскрыл тетрадь и читает моему отцу свою выстраданную нежную лирику. Читает заплаканный. И отец мой тоже рукавом слезы утирает.

Много лет потом, вплоть до конца своей жизни, вспоминал мой добрый отец эту встречу с известным поэтом и все спрашивал:

— А как там Владимир Сосюра, как его здоровье?

...Много бывших студентов Одесского мединститута, наверное, и до сих пор помнят выступление Владимира Сосюры в актовом зале зимой 1930 года. От оваций буквально дрожали окна. А после окончания вечера ребята бросились на сцену, подхватили поэта на руки и три раза из конца в конец пронесли через весь зал. Потом все вышли за ним на Херсонскую улицу и с песнями провожали его через весь город до самого отеля «Одесса» на Приморском бульваре.

Коллективы рабочих, студентов, моряков часто посылали ему в Харьков письма и телеграммы, в которых просили приехать и выступить.

Помню еще один его литературный вечер, состоявшийся в помещении драматического театра. Вышел тогда Владимир Николаевич на сцену и сказал:

— Вы попросили меня, дорогие друзья, чтобы я почитал вам свой стихотворный роман «Тарас Трясило». И вот я приехал. Но получилось так, что, выезжая, я случайно забыл взять рукопись романа, поэтому я буду читать его вам по памяти. Если где-нибудь собьюсь, вы меня простите...

Он читал два часа подряд и ни разу не сбился!

— То, что поэт выстрадал, во что вложил всю душу, забыть нельзя! — говорили потом одесситы в кулуарах.

Влекло Владимира Николаевича в Одессу безусловно и то, что в годы гражданской войны он как боец-красногвардеец находился здесь со своей частью.

Хочу рассказать о том, что, возможно, знаю только я один. Летом 1933 года шел я с Владимиром Николаевичем на Пушкинскую улицу, в редакцию газеты «Черноморська комуна». Только мы повернули на Пушкинскую и поравнялись с домом номер два, как вдруг он остановился, оглянулся кругом, усмехнулся и крайне возбужденно заговорил:

— Смотрите! Это же тот самый дом и тот двор, где весной 1920 года размещалась наша Красногвардейская

часть. Пойдем, Степан, на второй этаж! Я покажу тебе комнату и тот угол, где я жил...

У входа в здание поблескивала довольно строгая вывеска: «Одесское областное управление политотделами МТС». Не обращая на вывеску никакого внимания, Владимир Николаевич спешил по лестнице вверх, а я за ним.

— Вот тут! В этом коридоре! В этой комнате! — бросил он на ходу. Его несколько не смущало, что на двери комнаты было написано: «Посторонним вход строго воспрещен!», открыл двери и быстро вошел туда, окрыленный воспоминаниями. — Вот тут, возле окна, стояла моя койка! — показывал он мне, забыв даже поздороваться с начальником в военной форме, который удивленно смотрел на нас из-за стола.

— В чем дело, товарищи? — воскликнул он.

Я извиняющимся тоном пояснил:

— Это, — говорю, — известный украинский поэт, певец революции Владимир Сосюра! Тут, в этой комнате, он жил, будучи красногвардейцем.

Начальник вышел из-за стола, пожал Владимиру Николаевичу руку и сказал, что ему очень приятно узнать о таком интересном факте.

Мы снова вышли на улицу. И Владимир Николаевич открыл мне незабываемую страничку из своей творческой биографии. Он показал на окна бельэтажа дома напротив и вспомнил:

— А вон в той квартире жила красивая панночка, не успевшая еще в то время удрать с родителями за границу. Каждый раз, когда мы, красногвардейцы, выстраивались в шеренгу напротив ее окон, она смотрела вон из того окна и ехидно усмехалась. Однажды мы что-то у нее спросили, и она очень сердито ответила: «Отстаньте, мужлань!..» В тот же вечер, — продолжал Владимир Николаевич, — я решил ответить таким, как она: сел и впервые на украинском языке написал стихотворение «Відплата».

И он тут же, на улице, начал читать мне стихотворение, которое я давно знал наизусть...

Этот счастливый для меня день и поход в редакцию удивительно был насыщен интересными воспоминаниями из жизни и творчества известного поэта.

Помню, зашли мы в «Черноморську комуну». Владимира Николаевича приветливо и радостно встретил сменный секретарь, старый одесский журналист товарищ Боров. Разговорились, а товарищ Боров и говорит:

— А помните ли вы, Владимир Николаевич, как весной 1920 года вы зашли ко мне, тогдашнему секретарю газеты «Комуніст», и дали стихотворение «Відплата», которое я при вас же сдал в набор, и на другой день оно было напечатано в газете? Приходили вы тогда в старенькой шинели...

— Так это были вы? — бросился к нему Владимир Николаевич и, заключив в объятия, расцеловал, как отца родного.

Многое я еще мог бы рассказать о Владимире Николаевиче, искреннем и сердечном человеке, вдохновенном поэте, который, взволновавшись каким-либо событием, мог сразу написать стихотворение, включавшееся потом во все хрестоматии. Мог бы рассказать, как более тридцати лет он был для меня, как и для многих других, старшим братом и товарищем; как я в конце июня 1941 года, под грохот бомб, сбрасываемых фашистами на Киев, провожал его в дорогу, а он смотрел из окна поезда на вечерний родной город и тихо плакал.

Но остановился я только на том, что мне кажется наиболее важным.

В 1951 году принимали меня в кандидаты Коммунистической партии. И я благодарен Владимиру Николаевичу за то, что он, встав тогда на писательском партийном собрании, сказал обо мне доброе человеческое слово, вспомнив при этом, как мы когда-то давно познакомились в Одессе на Дерибасовской. Благодарен ему, как и миллио-

ны людей, за золотое слово его поэзии, пробудившее во мне любовь к творчеству.

Таких сердечных и доброжелательных людей, каким был он, нельзя не любить. Выдающегося певца дал революции рабочий Донбасс!

И хотя сегодня уже нет с нами Владимира Сосюры, живут и будут жить его чудесные и бессмертные стихи, прославляющие родной край и героический украинский народ,— все то, что любил поэт всей душой, всем своим большим и добрым сердцем!

ВСТРЕЧА В ОДЕССКОМ ПОРТУ



омню, как нас, студентов, обрадовало известие о том, что в одиннадцать часов утра прибывает пароходом из Италии А. М. Горький и что мы идем его встречать.

И вот мы с лозунгами и с песнями весело шагаем в порт.

В порту уже было полно народу. Пришли рабочие заводов судоремонтного, имени Октябрьской революции, имени Ленина... Пришли отдыхающие из многочисленных санаториев и домов отдыха. Приехали из близлежащих сел украинские хлеборобы.

Пароход приближался... И как только, обогнув маяк и волнорез, он повернул в бухту, все суда, стоявшие в порту, включили свои мощные гудки: хором басистых сирен Одесса приветствовала возвращение на родину Алексея Максимовича!

Названия парохода я не помню, наверное, потому, что, как и все, смотрел тогда только на палубу. Хотелось первым увидеть любимого писателя.

А вот и он! Опершись левой рукой о перила, а правой высоко подняв фуражку, Алексей Максимович приветствовал жителей города, в котором когда-то начинал свой трудовой путь. На загорелом лице писателя добрая, светлая улыбка, его поседевшие волосы ласково треплет соленый бриз. Когда пароход пришвартовался, Алексей Максимович стал сходить по трапу.

— Да здравствует наш друг Максим Горький! — скандировали студенты.

— Привет великому певцу революции! — долетали возгласы с другого конца портовой площади.

Спустившись еще немного, Алексей Максимович остановился на трапе и обратился к тысячной толпе:

— Здравствуйте, дорогие жители Одессы! Здравствуй, моя родная земля!.. — Он широко раскинул руки и на минуту замолчал. Было видно, что он волнуется и поэтому ему трудно говорить.

Тогда в порту еще не было ни микрофонов, ни репродукторов. Кроме того, трудно было говорить из-за шума моря, и Алексей Максимович сказал, что свою благодарность за такую встречу он выразит в газете. Простер руки, как бы всех обнимая, и выкрикнул:

— Спасибо, дорогие товарищи! — И под неутраченное студенческое, рабочее и моряцкое «ура!» прошел к машине и поехал в гостиницу «Одесса» на Приморском бульваре.

Обычно на этом бульваре только по вечерам становилось многолюдно, особенно много собиралось молодежи. А в этот день — с утра и до вечера — бульвар выглядел совсем по-другому.

Все скамейки были заняты студентами; в этот день именно здесь им захотелось читать свои конспекты и учебники! Не отстали от них и пионервожатые: решили здесь, напротив гостиницы, провести свои занятия с малышкой... Признаться, я и сам в этот день не пошел в университет, а примостился на лавочке под каштаном и попеременно поглядывал то в книгу, то на двери гостиницы...

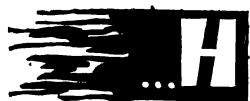
И когда около полудня из гостиницы вышел Максим Горький, первыми окружили его юные пионеры. Они что-то щебетали, а великий писатель улыбался им и, наклонившись, гладил детские головки с белыми бантиками в косичках.

Тогда я вторично, уже ближе, увидел Максима Горького.

Потом, помню, вернувшись в общежитие, долго рассказывал своим друзьям о том, какой он — знаменитый русский писатель...

Эту незабываемую картину встречи Алексея Максимовича весной тысяча девятьсот тридцатого года в моем родном городе Одессе я как сейчас вижу.

ПОЭТ МОЛОДОСТИ



Н е знаю, у кого как, а на «киноплёнке» моей памяти ничего не стерлось, не затуманилось. Ярко и ясно помню множество разных событий, десятки имен моих односельчан, товарищей и друзей, с которыми учился, работал. Многих и сейчас как бы вижу перед собой. И среди них, на первом плане, вижу молодого, улыбчивого жизнелюба, подольского парня в отцовской красноармейской шинели Панька Педу.

Случилось так, что любители поэзии не знают или мало знают этого нежного лирика, чудесного мастера слова, стихи которого так высоко оценил Павло Тычина в своих письмах к младшему коллеге. Письма эти мне известны, так как Панько Педа давал их мне читать.

Мне хочется кое-что рассказать уважаемым читателям об этом талантливом певце двадцатых и тридцатых годов.

Родился Панько Михайлович Педа 23 декабря 1907 года в семье рабочего, в живописном приднестровском местечке Жванцы на Подольщине.

С детских лет он был влюблен в чарующую поэзию Тараса Шевченко, Михаила Лермонтова, Леси Украинки.

Свои первые стихи начал печатать в подольской сельской газете в 1925 году.

Осенью 1926 года девятнадцатилетний голубоглазый подольянин едет в Одессу и поступает на рабфак, а по окончании его — в институт профессионального образования.

В те годы я тоже был студентом этого института и жил

с Паньком Педой в одной комнате в общежитии на Комсомольской улице в Одессе.

Поздними вечерами, после подготовки к лекциям, рассказывали мы друг другу о своих родных краях всякие интересные житейские истории и читали на память стихи любимых современных поэтов: Маяковского, Тычины, Союры, Есенина... Бывало, уже давно все спят в общежитии, давно и мы погасили свет в нашей 77-й комнате, а «литературный вечер» все продолжается.

Успешно учась, Панько Педа пишет новые и новые произведения, печатает их в газетах «Червоний степ», «Молода гвардія», «Черноморська комуна», в журналах «Шквал», «Блиски», «Металеві дни», а позже — в республиканской периодической прессе, в литературных журналах, издававшихся в Харькове, Киеве. В 1929 году, например, один из номеров журнала «Червоний шлях», где отделом поэзии заведовал Павло Тычина, открывался стихотворением Панька Педы «Украина Советская».

Это было время, когда рабочая и студенческая молодежь увлекалась литературой, особенно поэзией. Достаточно сказать, что в Одессе было тогда пять литературных организаций: «Гарт», «Плуг», «Потоки Октября», «Перевал», «Молода гвардія». Каждая из них насчитывала от пятидесяти до ста человек. И еженедельно проводила многочисленные творческие заседания, на которых молодые поэты и прозаики читали свои новые произведения. После чтения начиналось бурное обсуждение прочитанного, разгорались споры, дискуссии, которые тянулись иногда до поздней ночи.

Пробужденные Великим Октябрем, овеянные романтикой гражданской войны, молодые таланты советского народа жаждали знаний, стремились к росту, к творчеству.

Панько Педа, еще будучи рабфаковцем, принадлежал к организации пролетарских писателей «Гарта», руководимой тогда в Одессе известным писателем и общественным деятелем Иваном Микитенко.

Литературная общественность, коллективы одесских редакций с уважением относились к молодому поэту, высоко ценя его талант. Не один раз работники прессы заходили тогда в нашу комнату в общежитии, чтобы попросить у Панька Педы новое стихотворение для газеты. Они знали, что Педя напишет быстро и хорошо.

Помню, как на второй день Октябрьских праздников 1930 года к нему пришел работник редакции.

— Вы были вчера на демонстрации? — спросил он.

— Был.

— Вот и напишите про мощные праздничные колонны, о их красоте и величии. Мы поместим стихотворение под большой фотографией...

— Хорошо, напишу.

— А когда зайти за ним?

Поэт на какое-то мгновение задумался, затем протянул гостю журнал:

— Посидите, пожалуйста, подождите, я попробую сразу написать...

И Панько Педя, еще пять минут тому назад веселый, возбужденный, уже сидел за столом сосредоточенный, задумчивый и работал. В его воображении встала вчерашняя демонстрация — цветы, песни, могучая поступь тысяч людей... И появились первые строчки:

Ідуть...

ідуть...

ідуть...

Тисячі

Дужих, тисячі...

Сила така собі путь

Навіть у скелі

Висіче...

За полтора часа стихотворение «Демонстрация» было готово, а через день его читали одесситы на первой странице своей «Черноморської комуны».

Иногда, бывало, что Панько, «загоревшись» какой-нибудь темой, образом, писал стихи на лекциях, сев где-ни-

будь в заднем ряду. Если что-нибудь взволновало, старался написать сразу же, как и подобает настоящему поэту.

Вот что случилось с ним как-то на лекции. Преподаватель политэкономии спрашивал студента о теории кризисов в капиталистическом обществе. Студент отвечал хорошо, обосновывая каждую мысль.

— Хватит! — сказал преподаватель и посмотрел в конец аудитории. — Дальше продолжит товарищ Педа!..

Панько вскочил, стоял и хлопал глазами.

— Вы можете что-нибудь добавить к уже сказанному о теории кризисов? — спросил его преподаватель.

— Могу, профессор, добавить, что... у меня сегодня тоже кризис! — честно признался творец нового стихотворения.

Через пять дней Панько заново сдал профессору этот раздел политэкономии.

И сдал отлично.

О Панько Педе, как мастере стихотворения, эпиграммы, как о поэте, умевшем сразу воспламеняться и вдохновенно творить, можно рассказать много. Мы, его товарищи, не раз были свидетелями его экспромтов.

Расскажу об одном интересном «романе» Педы. Как-то возвращался он от родителей из села. Идя со станции мимо института, зашел в вестибюль и взял на окне адресованное ему письмо. Принес в общежитие, прочитал. Письмо написано было в стихотворной форме. Незнакомая девушка-студентка в игриво-ироническом тоне нападала на его поэзию и явно заигрывала с ним. Помню, письмо ее начиналось словами: «Вы, Пед,— служитель Аполлона» и т. д. Подпись — Лида Льдова. Было ясно, что это псевдоним. Автор письма писала, что ответ ей можно оставить в конверте на том же окне в вестибюле института.

Немного оскорбленный и задетый за живое, Панько Педа, невзирая на дорожную усталость, сел к столу, и, как говорится, с ходу ответил — на трех страницах, с настроением, интересно, остроумно, с хлестким юмором.

И пошла стихотворная перепалка! Тянулась эта переписка полгода. Взгляды на жизнь, общественная роль поэта, пути развития поэзии — вот темы, которые были затронуты в этой стихотворной «битве». Толстая общая тетрадь полностью заполнилась посланиями Лиде Льдовой (жаль, впоследствии найти эту тетрадь не удалось).

Через полгода состоялось знакомство Панька Педы с Лидой Льдовой. Началась у них хорошая дружба.

Лида Льдова (оставим ее псевдоним) — умная, образованная женщина — жива-здоровая и сейчас. Она жена известного русского романиста, иногда выступает в прессе с публицистикой. Я рассказал об этом «романе», чтобы уважаемые читатели имели более полное представление, как непринужденно и талантливо писал поэт, какой силой он обладал. А язык его поэзии! Читаешь и чувствуешь музыку строки, прозрачность и чистоту настроения, звонкость каждого слова.

...Хочется, чтобы читатели знали о таком факте творческой биографии поэта. Одесситы старшего поколения помнят, как на Дерибасовской улице около Пассажа сидел чистильщик сапог — инвалид без обеих ног. (Тот, кто смотрел кинофильм «Броненосец «Потемкин», видел, как по ходу фильма, «таякая от полиции», он скачет на ручных подпорках вниз по знаменитой одесской лестнице.)

Однажды мы шли по Дерибасовской. Панько сочувственно посмотрел на этого калеку и сказал:

— Давай подойдем к нему, и я у него все расспрошу. Давно хочу написать стихи о его судьбе...

И мы подошли. Познакомились.

А недели через полторы в журнале «Шквал» все читали стихотворение «Митя», которое свидетельствовало о гуманности и человечности души поэта:

Під ногами
Шугає вітер
І вузами плазує спіг.
Всі спішать,

А безногий Митя
Не спішить, бо не має ніг.
Чути кроки...
Ех, коли б він ходити міг!
Митя чистить
Веселі крики...
Чужі черевики,
А в самого немає ніг.

И дальше взволнованно рассказывалось в стихотворении о человеке, получившем в годы гражданской войны такую неизлечимую травму. Стихи приняли близко к сердцу сотни одесситов, знавшие бедолагу Митю...

...Творчество Панька Педы было многотемным. Молодость родного советского края, его расцвет и стремление к светлому будущему, славные дела комсомола, его труд и учеба, все, чем жила наша страна в то время,— таковы темы и мотивы стихов талантливого поэта.

И, как правило, Панько Педа всегда требовательно заботился о высокохудожественной форме своих идейно-боевых произведений. Иногда он как мастер слова достигал большой виртуозности, достигал, казалось бы, невозможного.

Для подтверждения сказанного приведу такой пример. С трудом выговаривая, а потому и «недолюбливая» букву «р», он как-то сказал нам убежденно и даже хвастливо:

— Напишу сборник стихов без единой буквы «р»!

И такую книжку Педа не только пообещал написать, но и написал! Это были стихи и на важные общественные темы, и сугубо лирического плана. Вот строфа из его стихотворения без буквы «р»:

Вдалині сумні ліси,
Глянь, лілейно-синь!..
Линьмо ланами туди.
Під дубову тіль...

И т. д.

Можно себе представить, как трудно было поэту осуществить то, что он задумал, но он осуществил. Сборник состоял почти из тридцати таких оригинальных стихотворений.

...После окончания института (1933) Панько Михайлович Педа работал преподавателем родного языка и литературы — сначала в средней школе, а потом в Одесском сельскохозяйственном институте. Какое-то время заведовал литературной частью Одесского оперного театра.

Но где бы поэт ни работал, он всегда находил время для творчества. В 1931 году в харьковском издательстве «Гарт» вышла его книжка «Первый рейд». Он систематически печатался во многих литературных журналах Украины, в газетах.

...Вот уже сорок два года, как поэта нет среди нас. Вторая его книжка, «Горят огни», отредактированная мной и вышедшая в 1955 году в издательстве «Радянський письменник», еще раз ярко свидетельствует, что в личности Панька Педы мы имели талантливого певца-патриота. Его произведения о героическом труде советских людей, о Великом Октябре, о силе и расцвете родного края еще долго будут звучать как произведения патриотические и по-настоящему художественные. Многие его стихи являются образцом того, как можно соединить высокохудожественную форму с высокой идейностью, партийностью.

На творчестве Панька Педы есть чему учиться и нашей литературной молодежи, и читателям, которым я рассказал в этих заметках о моем незабываемом товарище.

МЫ ВСЕ ЕГО ЛЮБИЛИ



юных лет увлекался я чудесными усмешками Остапа Вишни. Бывало, часами ожидаю около сельсовета почтальона из райцентра. Ведь когда он придет и выложит на стол из своей сумки разные газеты, я смогу читать Остапа Вишню и в «Вістях», и в «Радянському селі», и в «Комуністі». А когда выйду с газетами во двор, меня непременно окружают дядьки-степовики. Усядутся кружком у кооператива и начнут меня торопить:

— Ну, ну, читай, что там сегодня наш Остап пишет!

Только начну читать, смотришь, еще подбегают ко мне несколько дядьков:

— Стой, подожди, давай сначала!..

Наш Остап! Так нежно называли его не только в моем степном селе — так величали писателя миллионы людей Советской Украины.

Увидеть Остапа Вишню была моя давняя мечта.

...А увидел я Вишню летом 1944 года, когда он, как сам шутил, «закончил десятилетку» и прибыл в Киев.

Столица Украины была тогда в руинах, оставленных фашистским нашествием. Наши славные воины все дальше и дальше гнали на запад гитлеровских бандитов. Начинал отстраиваться родной Киев. Начали выходить газеты и журналы. И Остап Вишня, имея уже на вооружении знаменитую «Зенитку», приехал в Киев и сразу же начал

писать и печатать свои чудесные юморески, фельетоны. Писал он как патриот, страстно, со всем пылом души.

И тут я должен категорически возразить одному писателю, который в своей статье приписал «как заслугу» одному редактору то, что этот редактор, мол, «сумел в послевоенные годы привлечь Остапа Вишню к активной работе в прессе».

Ерунда! Никто Остапа Вишню не привлекал. Он сразу же после возвращения на Украину горячо, от всего сердца начал вдохновенно творить и до последнего дня своей жизни отдавал свой талант народу.

...Летом 1944 года Союз писателей Украины организовал традиционную поездку пароходом по Днепру до Канева на могилу великого сына украинского народа Тараса Григорьевича Шевченко! Я тогда работал в газете «Колгоспник України». Редакция послала меня с этим же пароходом до Канева, чтобы я дал материал в газету о поездке писателей.

Именно там, на пароходе, я впервые в жизни увидел Павла Михайловича Губенко (Остапа Вишню)!

В стареньком, синеватого цвета легком костюмчике, в светлой кепке, с непременною палкой в руке, ходил он по палубе парохода, смотрел на чудесные днепровские берега, затоны и зеленые правобережные взгорья. По его глазам было видно, как сильно он стосковался по красоте родной природы.

Два писателя-энтузиаста суетились на пароходе, организуя веселый досуг. Особенно старался один из них, все время изображая из себя заводилу-весельчака. Он подбегал к мэтрам, лауреатам и депутатам, и все умолял их:

— Ну хоть одно стихотворение прочтите! Все вас очень просят, вы же наше светило!..

В то время я еще не был членом Союза писателей, мало общался с известными поэтами и поэтому держался в стороне.

Правда, в то время я уже напечатал в «Радянської України» двенадцать юмористических новелл и стихи.

Журналисты рассказывали мне, что будто бы Остап Вишня читал мои новеллы и похвально о них отзывался. Но все-таки я никак не мог отважиться подойти к Павлу Михайловичу.

И тут произошло следующее. Когда льстивый организатор записывал тех, кто должен был на пароходе читать свои произведения, один из писателей, слышу, говорит ему: «Вон стоит Олейник Степан, может быть, он тоже что-нибудь почитает».

Затейник-организатор бросил рассеянный взгляд в мою сторону, почему-то очень кисло поморщился, махнул рукой и отвернулся. Признаюсь, мне как-то неприятно стало от этого неуважительного взмаха руки. Я и сам, конечно, не посмел бы выступить перед такой избранной аудиторией, но чего ты, думаю, кривишься.

Очень возможно, что Павло Михайлович, стоявший тогда псдалско от затейника, заметил его «реакцию» на меня. Может быть, даже заметил он, как я смутился и отошел подальше, только смотрю — Остап Вишня еще с тремя писателями идет ко мне. Подошел и говорит:

— Вот кому я еще хочу пожать руку! С удовольствием читал ваши юморески...

Всю жизнь я с огромной благодарностью буду помнить эти добрые слова дорогого Павла Михайловича!

Целый день провели украинские писатели на горе Чернечой. О большом народном празднике около памятника бессмертному Кобзарю писал и я тогда в газете. Здесь мне хочется рассказать про ту трогательную картину, которую все мы наблюдали, вернувшись на пароход.

Не только по Каневу, но и по всем окружающим селам быстро распространилась весть, что приехал Остап Вишня. И во второй половине дня около каневской пристани собралось много народу. Их собралось тысячи полторы,

пришедших, приехавших верхом, чтобы посмотреть и поприветствовать своего любимого писателя.

И, когда Павло Михайлович вышел на палубу, улыбнулся и поклонился присутствующим, его закидали цветами.

— Мы вас не забыли! — слышалось из толпы.

Павло Михайлович брал по цветочку из букетов и дарил розы и бархатцы мужчинам, женщинам, девочкам. Снова и снова повторял: «Спасибо вам!» — и снова кланялся. А люди аплодировали, радостно улыбались. И тогда я увидел, как Павло Михайлович достал из кармана платок и смахнул с лица слезу.

Так всюду встречали и провожали Павла Михайловича. И прежде всего потому, что был он добрым и человечным и в своих произведениях, и в жизни. Ведь злые люди, мне кажется, никогда не бывают талантливы, и, наоборот, талантливый, умный человек никогда не бывает злым.

Мне посчастливилось потом двенадцать лет работать вместе с Остапом Вишней в журнале «Перець». И я убедился, каким сердечным и мягким он был с людьми.

Думаю, что вообще духовным началом в творчестве великого нашего сатирика были именно доброта и любовь к людям. Стремясь защитить своим словом добро от зла, писатель и выбрал себе оружие переднего края — сатиру и юмор.

Действовал он этим оружием как большой мастер и потечески заботливо обучал этому искусству всех нас, перчан, работавших с ним.

Когда Остап Вишня приходил в редакцию в бодром, веселом настроении, мы знали: Павло Михайлович либо сегодня написал что-нибудь удачное, либо кому-то сделал что-то приятное.

А он, бывало, сядет и рассказывает:

— Помните, хлопцы, приходила как-то ко мне старушка и плакала, что пустила квартиранта, а он, нахал, потом выкинул ее же из комнаты? Ну, так эта бабуса уже не

плачет, а смеется и фокстрот танцует. Все! Мне позвонили от прокурора и сказали, что выкинули этого нахала воп...

Расскажет, а потом весь день радостный ходит. Отстоял справедливость или сделал добро человеку! А бывало и так. Войдет, поздоровается, тяжело вздохнет и сидит молчаливый, только иногда что-то тихо про себя скажет.

— Чем вы озабочены? — деликатно спросим.

— «Чем, чем»! Проклятые браконьеры вконец меня расстроили. Был я вчера на озерах с удочкой. Насмотрелся, что только творится: один сетью гребет, другой глушит толком... И откуда только они берутся, эти нелюди?!

Потом возьмет бумагу, ручку. И пишет. Быстро, почти не отрываясь. Кто-то входит, выходит, здоровается или прощается — Павло Михайлович ничего не слышит. Он весь в работе — в поисках хлесткой остроты, саркастической интонации, убийственной иронии.

Он клеймит врагов природы и призывает обрушить на них гнев людской.

И в очередном номере «Перца» появляется его фельетон.

Просмотрите комплект журнала, почитайте еще раз его книги, и вы увидите, что нет таких жизненно важных тем, на которые не откликнулся бы мастер — зачинатель украинской советской сатиры.

Он всегда и по-настоящему был связан с жизнью народа, волновался его радостями и печальми. Он не принадлежал к категории тех «творцов», которые наблюдают жизнь с дачной веранды или ищут впечатлений в туристских поездках за рубежом. Чем жили и за что боролись его соотечественники, тем жил и за то повседневно боролся своим искренним словом и Остап Вишня. Именно поэтому он и стал воистину народным писателем.

Даже свой летний отпуск Остап Вишня обычно проводил не в люксовых палатах первоклассных санаториев, а обязательно где-нибудь в селе — или над Осколом на Харьковщине, или в низовьях Днепра на Херсонщине:

чтобы и отдыхая быть среди людей, наблюдать их трудовую жизнь.

А его почта! День за днем со всех концов Украины ему писали люди; те, кто знал координаты «Перца», писали в редакцию, кто не знал, адресовали просто: «Киев, Остапу Вишне».

Колхозники, агрономы, партийные работники обращались к нему как к старшему другу. Некоторые из них рассказывали о своей беде, жаловались и просили помощи, другие начинали письмо так: «Было бы очень хорошо, тов. Вишня, если бы вы написали острую сатиру на тему...» — подсказывалась тема и с ней излагались факты, фамилии носителей зла: бесхозяйственников, пьяниц, очковтирателей и т. д.

Приходили не только письма, но и посылки.

Расскажу об одной из них. Пришла она с Винничины. Тяжелая, килограммов на двадцать!

— Что же оно такое? — усмехнулся Павло Михайлович.

Открыли. Сверху, видим, лежит какая-то исписанная бумага. Читаем: «Выписка из протокола общего собрания колхозников артели «Новый путь». Слушали: о том, что райпотребсоюз завез колхозу бракованные, непригодные сапки.

Постановили: поручить плотнику артели тов. Гуменюку сделать ящик, запаковать сапки и послать в Киев Остапу Вишне, чтобы как следует прохватил бракоделов».

Надо заслужить у народа большее уважение, доверие и любовь, чтобы получать такие посылки и такие протоколы. Люди верили: если Остап Вишня скажет свое слово — будет дело!

Не раз к Павлу Михайловичу обращались руководители Коммунистической партии Украины и просили его выступить в прессе на ту или иную тему. Остап Вишня быстро и по-боевому выполнял такие просьбы, ибо считал их высокой для себя честью.

Все художественное творчество Остапа Вишни, сверкающее перлами народного юмора, вся его общественная деятельность еще много-много лет будут являться образцом того, как можно и как непременно нужно служить своим словом партии, народу!

Его сатирическая «зенитка» была точно по чинушам и бюрократам, была грозно и смертельно по поджигателям войны, поражала, как «катюша», беспощадным огнем в «самостійні дірки», где сидели, как крысы, украинские буржуазные националисты. Была без промаха!

И вместе с тем неутомимый труженик-писатель находил силы и время, чтобы дать нам такие высокохудожественные поэтические произведения о неумирающей красоте нашей природы, как его неповторимые «Охотничьи усмешки».

А сколько таких усмешек, остроумных шуток, разных веселых историй слышали от него те, кто с ним встречался! О чем бы ни зашел разговор, Павло Михайлович всегда скажет что-нибудь вишневское, меткое, оригинальное. Без юмора, веселого слова он нигде не мог обойтись.

Помню, вернулся он как-то летом из села поблизости Чигирина и рассказал:

— Вот вы послушайте, что оно такое, эта человеческая привычка. Отдыхал я в селе. Кругом вроде бы тишина. Кровать мне поставили в саду под яблоней. А ночь приходит, не могу заснуть: часов до двух собачина «гав!» да «гав!». Одна начнет, а за ней соседские! Только задремлешь, а часа в четыре начинается другая музыка — галго-чут гуси, утки, кудахчут куры, ревет теленок, верещит поросенок... Приехал я в Киев на свою Красноармейскую (где за минуту пролетают десятки машин, автобусов! — С. О.), открыл окно, лег на диван и говорю жене:

— Боже! Какая тут тишина!..

...Как-то пригласил меня Павло Михайлович пойти с ним в цирк. А в цирке тогда выступал известный дрессировщик медведей Филатов. Сидим мы в ложе и смотрим,

как медведь на двухколесном мотоцикле газует по цирку и газует, и правит! Вот второй медведь на ходу прыгает первому на спину. И уже ездят вдвоем!

Опершись на палку, Павло Михайлович зачарованно смотрел на это представление, иногда смеялся и что-то тихонько говорил. Я прислушался и слышу:

— И выучит же! М-гу! И выучит же!.. Ей-богу, меня бы не выучил!..

...А как-то поехали перчане на читательскую конференцию в Днепропетровск. После встречи с читателями пошли ужинать в новенький ресторан, открывшийся только позавчера. Перед этим нам рассказали, что местные руководители «пищеторга» долго сушили головы над тем, как этот ресторан назвать. Заказали целых три вывески. А потом прибили вывеску с названием «Ренессанс».

Отпуская за столом шутки по этому поводу, Павло Михайлович позвал представителя администрации, проходившего мимо, и спросил:

— А что это значит — «Ренессанс»?

Тот ответил, что именно этот вопрос они завтра будут прорабатывать на летучке.

Потом пояснил, что знает значение этого слова их директор, и добавил: «Наш директор — человек культурный, и недавно он записался в партию...»

Должно быть, администрация узнала, кто там так заинтересовался «Ренессансом», потому что случилось совсем неожиданное: пока мы ужинали, вывеску сменили. С того самого вечера и поныне этот ресторан носит название «Дніпро».

...Остап Вишня часто встречался с читателями. Все его приглашали к себе в гости — рабочие, студенты, колхозники, школьники.

Во время одной из таких встреч его спросили о юморе, о том, как он его создает. Ответив на этот вопрос, Павло Михайлович немного подумал и еще добавил:

— А потом, товарищи, очень важно и то, кто и как

этот юмор воспринимает. Есть же такие люди, которых сколько ни щекочи, они не засмеются. Бывает так — напишешь, перечитаешь, сам смеешься. Жена прочтет — смеется. Дашь соседу — хохочет. Принесешь фельетон редактору. Раз прочтет молча, второй раз читает, потом поднимет голову и скажет: «Чудесная вещь, очень актуальная вещь, но чтобы в ней... хоть чуточку юмора!»

...Любил Вишня в воскресенье поехать на охоту. Было у него и ружье хорошее, и было на чем ездить.

В понедельник приходит в редакцию.

— Ну, как охота, Павло Михайлович? Убили зайчика?

— Да что вы! Чтобы я убил то, что так люблю! — И, помню, добавил: — Вишня всегда летит на охоту под лозунгом: «Пусть живут зайцы!»

Полюбоваться лугами, сенокосом, красотой земли — вот что его больше всего прельщало.

В подтверждение этого — еще одно воспоминание.

Я знал, что Павло Михайлович уже часа три тому назад поехал на рыбалку. Знал я и куда именно он поехал. Приезжаю туда и застаю его над озером на лугу, под развесистыми вербами.

И удивительная вещь: сидит, вижу, Павло Михайлович на стульчике, слушает птишек, о чем-то мечтает, а на озеро даже и не смотрит. Его шофер Володя, завзятый рыбовод, читает в машине газету.

— Чего же вы не ловите? — спрашиваю.

А Павло Михайлович:

— Та-а! — махнул рукой.

— Не клюет или еще что?

— Хуже! — говорит.

— Может быть, запретили здесь ловить?

— Еще хуже! — А в глазах смешинка прыгает. Потом подходит ко мне ближе и почти кричит, смеясь: — Удочки забыли!

...У меня, как и у каждого из перчап, много в памяти

тех шуток, на которые был так щедр Остап Вишня. Эти шутки были полны оптимизма, доброты, душевного тепла писателя-жизнелюба.

Но не могу я забыть и того, как однажды (было это в 1955 году) Павло Михайлович вошел в редакцию какой-то не такой, как всегда.

Это было часов в десять утра. В комнате сидел я один. Открылась дверь, вошел Остап Вишня. Вместо своего шуточного: «Физкультпривет!» — Павло Михайлович бросил: «Здравствуйте!» Внешне сдержанный, а на самом деле взвинченный и взволнованный, он быстро разделся и несколько раз повторил:

— У меня такая радость, такая радость... а они плачут...

В этих словах чувствовалась горечь и душевная боль... И я растерялся: молча стоял около стола и не сводил с него глаз.

Павло Михайлович подошел ко мне и с той же болью в голосе повторил ту же фразу:

— У меня такая радость, такая радость... а они, жена и дочка, плачут...

Не спеша вынул из кармана какую-то бумагу и протянул ее мне.

Взглянул я на эту бумагу и прочел, что дело по обвинению Губенко Павла Михайловича (Остапа Вишни) пересмотрено 25 октября 1955 года. Ниже было написано, что постановление от 3 марта 1934 года, касающееся Остапа Вишни, отменено «и дело прекращено из-за отсутствия состава преступления». Я смотрел на этот документ, а Павло Михайлович молча ходил по комнате. Потом взглянул на меня и с болью сказал:

— Вот такая у меня радость!

А через полчаса он уже заходил в другие комнаты, здороваясь с товарищами, выкрикивал свое «Физкультпривет!». Потом принимал и выслушивал жалобщиков,

ибо, как сказал однажды поэт Дмитро Белоус, Остапу Вишню жаловалось множество народа, хоть сам он никому никогда не жаловался.

На доме номер шесть по Красноармейской улице в Киеве, где прожил писатель последние годы своей жизни, установлена мемориальная доска. Ежедневно под барельефом Остапа Вишни прохожие видят живые цветы. Видят их люди и под портретом известного писателя в вестибюле редакции журнала «Перець», одним из основоположников которого он был.

Мы все его любили!

И поэтому Остап Вишня всегда для нас живой!

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Станция Лавочне	6
«Деревенские мальчики»	10
Мои первые критики	22
Находка в степи	24
Илюша из Мордовии	28
Общественный суд	35
Мои первые корреспонденции	39
Дядька Семен	44
Василина	47
Без лишнего	50
От автора	52
Ох и попало же коням!..	57
И случится же такое!	59
Это было в гостинице	62
Дядька с характером...	67
Жеребчик	71
Перестарались	74
Конкретная критика	76
Оленка	80
Василь Пожар	84
Сошли моряки на берег	90
Экскурсия на кинофабрику	93
Индюки	96
Разговор с маленьким Юрой	98
Две картинки с патуры:	
1. Поросята	100
2. Пастух	102
Всякое бывает с юмористами	104

Федор Лебедка	108
И такие есть дядьки	114
Алеша	117
Верблюд	122
Кожушок	125
Мои школьные учителя	128
Чайка	132
Наталка-Полтавка	139
Рассказ бабушки Гапны	147
«А все же мое взяло верх!» (Из рассказов деда Герасима)	149
Тетя Шура	164
Мой попутчик Аркадий Соломонович	169
Володька	175
Тревожная ночь	180
Гармошка должна играть	184
Девчата-гвардейцы	187
Митинг в селе Речки	191
Кто отцепил вагон?	195
Незабываемая встреча	201
Мой первый консультант	206
Наш друг Василь	211
В гостях у испанского писателя	214
Нежный, человечный	218
Встреча в Одесском порту	225
Поэт молодости	228
Мы все его любили	235

Степан Иванович Олейник

ПУТИ-ДОРОГИ

М., «Советский писатель», 1980, 248 стр.
План выпуска 1980 г. № 282

Редактор *А. И. Чеснокова*
Худож. редактор *Д. С. Мужин*
Техн. редактор *А. И. Мордовина*
Корректор *А. В. Полякова*

ИБ № 2330

Сдано в набор 23.08.79. Подписано к печати 10.04.80.
А 10227. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,85. Уч.-изд. л. 10,96. Тираж 30 000 экз. Заказ № 860. Цена 75 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.

75 коп.

